

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ЗИМЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

**ГЕОРГИЙ ИВАНОВ:
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ**

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ЗИМЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

Copyright, 1952, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда одного из выдающихся подсоветских литературоведов, который и теперь продолжает жить и работать в современной России, попросили назвать лучших из ныне здравствующих русских поэтов, он припомнил имена Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Бориса Пастернака. Имя Георгия Иванова нам, людям с той стороны, говорило тогда немного, но ознакомление с творчеством этого исключительного мастера стиха убеждает нас в том, что приведенная только что оценка вполне заслужена эмигрантским поэтом.

Анна Ахматова и Георгий Иванов — художники одного и того же направления. После эмиграции дороги их разошлись, но осталось одно, что их роднит: Георгий Иванов переехал из революционного Петербурга в Париж, Анну Ахматову, помимо ее воли, переселили из Петербурга в Ленинград, но души и того и другой остались в Петербурге.

Георгий Иванов — парижанин, эмигрант в буквальном смысле слова. Ахматова и Пастернак — эмигранты внутренние. Чувство одиночества, отчужденность от новых веяний времени, от железной поступи бесчеловечной эпохи и жестокой власти, эстетический протест против того, чтоб настоящее разрушалось минувшим, — вот что роднит и объединяет их, несмотря на различный творческий облик каждого.

Поэзия Пастернака, по собственному признанию поэта, «воспитана красотой развалин»; послереволюционная поэзия Ахматовой и Иванова преобразена сочувствием к минувшему, которое превращено в руины.

Первая книга стихотворений Георгий Иванова вышла в 1912 году, вторая («Вереск») четыре года спустя, третья («Сады») — в годы войны. Затем поэт выпускает ряд сборников, в послереволюционном Петербурге и в эмиграции. Подводя итоги собственному творчеству, Георгий Иванов собирает лучшее, что написано им, в книжку избранных стихотворений «Отплытие на остров Цитеру». Сюда собраны стихотворения 1916-36 г.г. Наконец, после войны поэт издает еще один сборник «Портрет без сходства».

Первые сборники поэта направлены к поискам творческой самостоятельности. В ранних стихотворениях слышны отголоски то Фофанова, то Северянина, то Ахматовой, то Гумилева. Но уже тогда Иванову удается стать самим собой, неповторимым, не похожим на других. Эта неповторимость — в предчувствии небывалой грозы, которая сотрясает и колеблет все, чем дышал и жил поэт.

Но властно прорывается в видения и сны
Глухое рокотание разгневанной волны...

.

Стало дышать труднее и слаще...
Скоро, о скоро падешь бездыханным.

Поэзия Гумилева, от которой исходит ранний Иванов, проникнута радостным, мужественным ожиданием борьбы с близящейся катастрофой. Ранний Иванов, приобщившись к той же борьбе, предчувствует неизбежность и закономерность собственных поражений. Этот пессимизм, который вытекает из трезвой оценки судеб России и русской интеллигенции, и определяет творческую индивидуальность Георгия Иванова. Становясь самим собой, Георгий Иванов находит в жизненной правде тяжелую тоску, которая тем

сильнее, что ее приходится сдерживать изнутри, чтобы не дать ей возможности проявиться открыто.

Спокойно всё. Слышна команда с рубки
И шкипер хочет вымолвить; да брось...
Но спорит друг и вспыхивает трубка,
И жалобно скрипит земная ось.

Капитаны Гумилева стремятся к победе над бурей. Георгий Иванов, бросая беглый взгляд на капитанов, убеждается, что это стремление обречено на гибель.

Отмеченная нами эмоциональная особенность поэтики Иванова проходит сквозь все творчество поэта. Особенно глубоко и предельно сжато эта особенность выражена в двух строках «Портрета без сходства»:

Я верю не в непобедимость зла,
А в неизбежность наших поражений.

В годы эмиграции Георгий Иванов, как поэт, сильно вырос, достиг высокого формального совершенства. Отчасти это объясняется воздействием поэзии Верлена, от которого Георгий Иванов взял прежде всего умение превращать слово в музыку, с ее тончайшими нюансами. Но при этом поэзия Иванова, несмотря на легкую дымку импрессионизма, не утрачивает пушкинской чистоты и прозрачности. Сделав ритм своих стихов по-новому музыкальным, что позволяет воспроизвести сложные оттенки настроений, Георгий Иванов не отрекся от ясновидящей чеканности классического стиха. В этом сочетании музыкальности и классичности — секрет обаяния поэзии Иванова, которая, как болотный цветок, пахнет запахом тления.

Эта музыка миру прощает
 То, что жизнь никогда не простит.
 Эта музыка путь освещает,
 Где погибшее счастье лежит.

Поэзия Георгия Иванова воспринимается как траурный марш, под скорбную и величественную музыку которого уходит в сумрак былая Россия. Иванов мастер поэтического контрапункта: отрывки популярных песен порой используются им для раскрытия большой самостоятельной мысли, — подобно тому как Чайковский включил в одну из своих симфоний русскую народную песню «Во поле березонька стояла».

Это звон бубенцов издалика,
 Это тройки широкий разбег,
 Это черная музыка Блока
 На сияющий падает снег.

За пределами жизни и мира,
 В пропастях ледяного эфира,
 Все равно не расстанусь с тобой,
 И Россия, как белая лира,
 Над засыпанной снегом судьбой.

Вторая большая тема Иванова — одиночество человека, утратившего родину. В изображении опустошенных эмигрантских душ и, прежде всего, собственной души, поэт беспощадно правдив. Он не боится увидеть жизненную правду обнаженной, с каким-то сарказмом срывая с нее ризы иллюзий, надежд и мечтаний. В таких случаях поэзия Иванова становится пессимистической и мрачной, но благородная сдержанность и какая-то особенная гордость духа, делающая жалкого и слабого независимым и сильным, не позволяет поэту быть рабом собственных скорбей.

Способность — холодным, слегка ироническим и

чуть надменным пристальным взглядом — смотреть в глаза жизненной правде, какой бы суровой и горестной эта правда не была — отличительная черта творчества Георгия Иванова как прозаика и мемуариста.

Вот характерный отрывок из романа Георгия Иванова «Третий Рим» — произведения безусловно значительного и недооцененного:

«Он, (т. е. Вельский — герой романа) свернул на площадь. Автомобиль с красным флажком, обогнав его, на сумасшедшем ходу промчался на Миллионную. Черная громада дворца, почти нигде не освещенная, казалась торжественней и выше, чем днем.

«В пышности русского двора есть что-то бутафорское, — вспомнил Вельский. — Что ж, пожалуй, потому так и рухнуло все, сразу. Бутафорская мощь, бутафорская власть».

Так определяет Георгий Иванов неизбежность падения самодержавия.

«Распад атома» — самое лучшее, самое значительное из того, что Георгием Ивановым создано. Это лирическая поэма в прозе, написанная не чернилами, а отчаянием одиночества и горечью неразделенной любви. Перед нами испуленная исповедь, вопль обнаженной души человека, отвергнутого любимой им женщиной. Герой «Распада атома» признается в том, что принято утаивать, о чем, фальшивого приличия ради, принято молчать, но в чем, тем не менее, повинны и грешны многие. Это не порнография, а заповедная, темная от других жизнь души, то, что Стефан Цвейг назвал «миром трущоб сердца» и что Иннокентий Анненский выразил такими стихами:

— Оставь меня! Мне ложе стелет скука.
 К чему мне рай, которым грезят все.
 А если грязь и низость только мука
 По где-то там сияющей красе?

«Спору нет: многие вещи являются в ней без покровов и многие названы своими именами», — писал о «Распаде атома» Владислав Ходасевич. Но все дело в том, что об этом «многом» Георгий Иванов рассказал художественно, с каким-то болезненным драматизмом, но далеко не пошло и далеко не цинично. Большой эстетический такт позволяет Георгию Иванову превратить в поэзию даже дохлых крыс, окровавленную ватку и окурки. Это ни в коем случае не патологическое любование грязью, а смелость художника, который стремится предельно правдиво и предельно искренне воспроизвести душевный надрыв человека, у которого вырвана из-под ног не только почва, но даже память о почве. Тут душевная драма одинокого человека перерастает в трагедию России. Скорбь личности и скорбь науки срастаются воедино: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?»

«Распад атома» состоит из двух слагаемых: из утраты человеком своего «я» и из распада общерусской культуры.

Для чего же, в таком случае, стоит жить человеку без родины, который дошел до того, что перестает быть самим собой?

Жить стоит для того, чтоб не утратить памяти о почве, ибо тот, кто сохраняет память, удерживает в душе и любовь, придающую смысл жизни: «Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной, — они еще стоят на исчезающей с ними почве».

В «Петербургских зимах» есть места, сходные по духу с этой идеей. Воспоминания Георгия Иванова проникнуты стремлением сохранить память о почве, но о такой, что — под натиском революционных бурь — еще не пошла ко дну:

«Говорят, тонущий в последнюю минуту забы-

вает страх, перестает задыхаться. Ему, вдруг, становится легко, свободно, блаженно, и, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь».

Георгий Иванов прежде всего художник, обладающий чувством меры. Художником остается он и в своих воспоминаниях. «Петербургские зимы» достойны занять в русской литературе особое место. Георгий Иванов обладает способностью — скупой, немногими, но крайне характерными штрихами — воспроизвести не только внешний, но и внутренний облик человека. Писателю порой достаточно одной детали, чтобы по ней определить все. В «Петербургских зимах» нам представлена портретная галерея писателей, артистов, общественных деятелей. Мы видим: Гумилева, Ахматову, Клюева, Северянина, Нарбута и многих других. Для историка новейшей русской литературы эта галерея имеет исключительную ценность. Георгий Иванов не всегда беспристрастен и порой склонен к преувеличению, но это не умаляет значительности и глубины его наблюдений. Глаз художника подмечает и запечатлевает то, на что никогда, или, почти никогда, не обратит внимания литературовед или критик.

Творчество Гумилева разделяется на три периода: 1) довоенный, 2) военный, 3) революционный. В первом периоде Гумилев — романтик, стерший грань между поэзией и приключенческой литературой. Первая война и вслед за ней — революция возвысили и углубили поэзию Гумилева. Второй период знаменует период от юности к возмужанию, к духовной и творческой зрелости. Когда Гумилев — совсем по другому поводу и по другим причинам — обронил фразу «Бог с ней с этой детскостью», — Георгий Иванов запечатлел эту фразу так, что шесть коротких слов бросили свет на весь творческий путь Гумилева.

На В. Зоргенфрея революция и голод оказали неожиданное действие: эпигон Блока, он стал богаче ду-

хом. Из духовного богатства выросли неповторимые, оригинальные художественные образы. В голодном Петербурге в лице Зоргенфрея появился очень большой поэт.

«Я сегодня, гражданин, плохо спал,
Душу я на керосин обменял».

Георгий Иванов первый, кто подметил это.

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что «Петербургские зимы» — это изящно и тонко выполненная художественная миниатюра, где глубоко и верно воспроизведена история предреволюционной литературы и литературы самого начала революции.

Будущее русской литературы — это ее прошлое, — сказал как-то Евгений Замятин. Георгий Иванов, предаваясь воспоминаниям, из послевоенного революционного Петербурга, — нередко предпринимает поездки в более отдаленные времена, в сияющий переливами наредкость красивых красок закат русской литературы. Такой метод сближения настоящего и минувшего позволяет особенно горестно ощутить смысл пророческой фразы Замятина.

Лучшие страницы «Петербургских зим» посвящены выступлению Анны Ахматовой у Вячеслава Иванова. Анна Ахматова читала тогда стихи:

«Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.»

— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии, — сказал тогда Вячеслав Иванов. «Ему удалось, — пишет Георгий Иванов, — сквозь временное и случайное, первому увидеть бессмертное и случайное.»

В «Петербургских зимах» самому Георгию Иванову, сквозь временное и случайное, довелось увидеть закат русской литературы. Георгию Иванову, как мало кому, посчастливилось остаться художником и при изображении той политической и социальной атмосферы, в которой развивается русская литература. Это делает «Петербургские зимы» особенно ценной и нужной книгой.

В. Завалишин.

**ГЕОРГИЙ ИВАНОВ:
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ**

I

Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.

К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно.

Голода боялись, пока он не установился «всерьез и надолго». Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили, — не пускали на лестницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.

— Расстреляют, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна.

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петр Петрович, заходите к нам...

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах, и разошлись. Балет... шуба... молодого Перфильева и еще студента... А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку... Расстреляют, должно быть...

Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обыденном.

Гражданина окликает гражданин:
 Что сегодня, гражданин, на обед?
 Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке.

Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.

... Я сегодня, гражданин, плохо спал —
 Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы не променять душу «на керосин» без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти...

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,
 Над Невою полыньи дымятся,
 И шальная пуля над Невою
 Ищет сердце бедное твое...

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!

**

Петербургская Сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: «Здесь продаеця собачье мяско».

На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме.

В. — бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет «для себя», т. е. ничего не пишет, делает только вид.

В минуты откровенности — признается: «Плюнул на литературу — жить красиво, вот главное».

Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом «что-то есть». Огромный рост, нестриженная черная борода, разбойничьи глаза на выкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяца, неизвестно куда.

— Где это вы были, В.?

Улыбочка. — Да вот, на Афон съездил...

— Зачем же вам было на Афон?

Та же улыбочка. — Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил. Только, досадно, в дороге кулек у меня украли и с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мощей...

Через полгода — опять. — Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном...

Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.

Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и

вопрос еще, как обернется на утро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):

Мне ночного пропуску не надо,
Часовых я не боюсь —

было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.

Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:

— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пушу.

Решив, что вряд ли это ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.

В. сейчас же открыл. — Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться? — Он пододвинул мне рюмку.

Сам В. уже, повидимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное «на-веселе».

Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.

— Да, если вам неудобно, вы скажите, я уйду.

— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только... — Он опять забегал глазами... — Вам-то будет ли удобно?

— Обо мне не беспокойтесь.

— Конечно, конечно... Но будет ли вам?.. Крепко ли вы спите?

— Очень. К тому же, чрезвычайно устал, — целый день на ногах, прямо валюсь...

— Вот, вот... — В., повидимому, обрадовался. — А то ко мне придет тут... Один книжник... Сосед...

Книжки кой-какие разобрать... Так я боялся, не помешаем ли мы вам.

Я успокоил В., что никто и ничем мне не помешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать, за рваный штофный полог.

— Ничего, ничего — тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее. А я на диванчике пересплю — прекрасный у меня диванчик.

Кровать была широкая и мягкая... В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан... Сосед книжник не приходил...

... Я проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос, вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь.

— От Бога-то вы отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало от Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще перед Н и м заслужить. Так, думаете, он вас и примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой...

— Да как же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь?

— И церкви, и акафисты, и в сердце своем его одного иметь. Главное — в сердце иметь. Тогда он и поможет.

— Что же тогда будет, когда поможет?

— Все будет, все, слышишь. Булки разные и ветчина, и шпроты, и белая головка — чего хочешь. И не за деньги, хотя бы по старой цене, а даром — бери, что желаешь, ешь, что желаешь, пей — все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи...

Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. В. сидел за круглым столом. Перед ним, спиной ко мне, какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи...

... в сердце держи, да. — Говоривший помолчал минуту...

— Ну, так вот, прежде всего, как уговорено — пять тыщ...

— Уже и пять? Вчера было три!

— Пять тыщ... — повторил старик, — меньше никак не справиться. Потом, вот записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинке, от руки. Потрудись во славу его.

В. стал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок, аккуратно пересчитав, спрятал.

— Ну, мне пора. Покойнички-то мои, верно, покоятся — две ночи пропадаю. Все дела, дела...

— И не страшно тебе на кладбище?

— Чего же страшно? Напротив — компания приятная.

— И не гадко?

— Что же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе... А которые долго лежат, подсохли... Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются экземплярчики...

— Молчи уж. Спать потом не буду, как понараскажешь...

Старичок захихикал.

— Какой слабонервный! А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время, хе... хе... Ну, ничего, главное — помни — его в сердце держи...

— Г. В., вы спите? — окликнул меня хозяин, проводив гостя.

Я не отозвался. — Спит, — пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирал, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец, улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапыванье — заснул и я.

Утром, когда я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.

«Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — вас постигнет большое несчастье...»

Дальше шла молитва: «Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды...»

— Странная молитва. Ведь, Утренняя Звезда — звезда Люцифера.

— Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопокклонник, помнишь, я тебе рассказывал?

Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева, на Преображенской. Сидя у маленькой, круглой печки, Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына.

— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять?

— Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать?..

— Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело, подумают, просто какой-то акафист. А кто и разберет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие.

— То есть, из боязни, что с ними случится несчастье, переписуют?

— Конечно.

— Какая чушь!

Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару.

— Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова.

— Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье?

— Должно. Несчастье будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, — но уверен в одном, мое оружие, — крест и молитва, — сильнее. Поэтому я спокоен.

— Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговор. Какой-то пятнадцатый век! Никогда не думал, что существует что-нибудь подобное.

— А вот, — представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная — и это самое лучшее. Но легко, случайно, как ты с ночевкой, у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету — и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И, заметь, — до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда ни с чем таким не сталкивался. А столкнулся раз, сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то там тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или, наоборот, — охота идет за мной, а ты не при чем...

— Ты меня пугаешь, — рассмеялся я.

— Не пугайся, дорогой, — пугаться никогда не следует. Но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор — хватит. Пойдем, прогуляемся...

**
*

Падает редкий, крупный снег. Вдоль тротуара буре сугробы, под ногами грязь...

... Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

Впрочем, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко — весна.

Над голыми ветками «Прудков» грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу Греческого торгуют папиросами.

— Почем десяток? — Триста. — Хватил!

— Пожалуйте, гражданин, у меня двести. — У него липа, берите у меня — двести пятьдесят...

...Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе — уже особый, «весенний» вкус.

— Куда же мы пойдём?

Гумилев стряхивает снег со своей обмерзшей дохи и поправляет чухонскую шапку с наушниками.

— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику.

— С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице?

— Ну, мой у Лавры не простой сапожник. Я поэтому к нему и хожу. Умнейший старик. Начетчик — священное писание знает, как архиерей, о Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь — пусть потолкует.

— Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор?

— Ах, нет — мужик с Волги, в тридцать лет писать научился. Но умнейший человек и презабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь.

Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок. Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, нако-

нец, узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка. — «К Илье Назарычу? Дома».

... Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил:

— Вы, Николай Степаныч, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра.

— Какого Петра?

— Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик — все потому же, немец был, не русский.

— Вы, Илья Назарыч, заговариваете что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские?

— Русские? — Старик пристукнул пузырь на распластанной подметке. — Хе, хе... Кто русские... (Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?).

— Русские? Как бы вам сказать... Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург, — град Святого Петра, хе-хе... Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал? Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки неотпетые, ни Богу, ни чорту ненужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются, и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают — это русские косточки, русские души...

Он опять согнулся над сапогом.

— Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь.

— Это у меня походка кавалерийская.

— Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая...

— Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец?..

Старичок опять захихикал.

— А вот, я вам стишком отвечу:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид.
Невы державное течение,
Береговой ее гранит.

— Ну, как по-вашему? Люблю! Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть в пору — а он — люблю. Немец! Державу любит! Течение! Гранит — нашими спинами тасканный, на наших костях утрамбованный!.. Ну?..

— Я тоже люблю, однако, русский.

— Ну, это потом разберут, русский вы, или нет... Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? — Ладно. Сейчас вам их заверну.

Шаркая, сапожник вышел.

— Забавный старик.

— Очень. Немного тронувшись, кажется.

— Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает? Его бы в религиозно-философское общество, а не сапоги чинить... И в комнате у него как мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это он пишет, давай, посмотрим?

Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено:

«Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра...»

— Вот ваши сапожки...

Гумилев обернулся с тетрадкой в руках:

— Что это такое, Илья Назарович?

Старик поглядел из-под очков, пожал плечами.

— Такое, что по чужим комодам шарить не полагается.

— Вы, значит, мне это прислали?

— Выходит, что я-с.

— Зачем?

— Там было указано зачем — переписать и разо-слать.

— Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?

Сапожник насупился.

— Нет у меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждать муки мне неподручно. И, если по сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю...

...Где я слышал этот голос? А! — вот что...

— Уезжаете? Покойнички беспокоятся? — сказал я тихо.

Старик посмотрел на меня насмешливо.

— Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это, скорее, живым следует. Мое нижайшее, граждане.

**
*

Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Каменноостровскому. Меня окликнули. — В., какой-то облезлый, похудевший.

— Что с вами?

— На Шпалерной сидел. Попал в засаду.

— Где же?

— Так, из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему, — ну, а там засада. Три месяца продержали...

— Сапожник? Это не в Лавре, не Илья Назарыч?

— Вот как! Значит, спите вы не так уж крепко. Верно. Илья Назарыч. Но, откуда же вы имя и адрес знаете?

— Не только адрес, но и был у него и не прочь бы еще зайти, потолковать. Может, пойдём вместе?

В. криво улыбнулся.

— Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль — славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого.

II

Летом 1910 года, на каникулах, я прочел в «Книжной Летописи» Вольфа объявление о новой книге. Называлась она «Студия Импрессионистов».

Стоила два рубля.

Страниц в ней было что-то много, и содержание их было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлебникова, что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нечто ассирийское какой-то дамы с ее же рисунками в семь красок.

Я эту Студию выписал. Потом, у Вольфа, мне рассказывали, что я был одним из трех покупателей. Выписал я, выписала какая-то барышня из Херсона и некто Петухов из Семипалатинска. Ни в Петербурге, ни в Москве — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалели кровных двух рублей, не считая пересылки, за удовольствие прочесть братьев Бурлюков с ассирийскими иллюстрациями в семь красок.

Только мы: я, барышня из Херсона и Петухов. Трое из ста шестидесяти миллионов.

О, Русь! О, rus!

Но это потом мне объяснили у Вольфа. Тогда же, выписывая, я испытал даже некоторое беспокойство: получу ли, не распродана ли?

«Студия Импрессионистов» внешнестью не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть, женщина, может быть, дом. Ассирийские рисунки тоже были недурны, хотя семь красок оказались

преувеличением. Красок было две, все тех же — бурая и лиловая. Содержание же, «сплошное дерзанье» — просто меня потрясло. С завистью я перечитывал стихи про оленя, затравленного охотниками:

И вдруг у него показалась грива,
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво,
Он показал искусство трогать.

Или, знаменитых впоследствии «Смехачей» — «о, рассмейтесь, смехачи, смеюнчики, смеюнчики...»

Не то, чтобы мне очень нравилось: Бальмонт и Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?

Что все это крайне ново, смело и прекрасно, не оставалось сомнений после вступительной статьи редактора студии К., очень истово это объяснявшего.

Я перечел эту статью с почтением.

Потом с завистью монодраму — переворот в драматическом искусстве — как она тут же рекомендовалась.

Потом «Смеюнчиков».

Потом снова монодраму...

Естественно, что «еще потом», через недели две, я отправил на почту заказной пакет с десятком буро-лиловых стихотворений, без определенного размера, и с сопроводительным письмом на имя редактора К.

Отправив, стал ждать ответа. Некоторый опыт мне подсказывали, что ответ придет не скоро и вряд ли обрадует. Но, против обыкновения, ответ пришел сейчас же. И какой ответ!

На листе шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой, — стояло:

— Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю...

Да. Это была не «Нива», после двух месяцев «сомнений и надежд» возвращавшая рукописи с неизменной отвратительной припиской: «М. Г. К сожалению...»

**
*

Каникулы кончились — я вернулся в Петербург. К., издатель «Студии», приглашал меня, сейчас же по приезде, к нему зайти. Конечно, мне очень хотелось это сделать. Знакомство с влиятельным издателем периодического альманаха, встреча с такими людьми, как Бурлюки или Борисяк, литературная жизнь, новаторство... Казалось, чего бы лучше? К сожалению, здесь было маленькое «но», сильно меня смущавшее...

«Но» — было в следующем. Как я пойду знакомиться со своими «импрессионистами». Ведь тогда обнаружится мой позор: шестнадцать лет и кадетский мундир, с золотым галуном на красном воротнике. Лета еще ничего, лета можно и прибавить... Но мундир...

К. рисовался мне господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым. Вот я написал ему, что приду, он меня ждет. Вот я поднимаюсь на шестой этаж, в его поэтическую мансарду, увешанную бурыми картинами и заваленную лиловыми рукописями. Звоню. Он смотрит на меня с недоумением. — «Вы, верно, ошиблись, молодой человек, это в третьем этаже, у полковника, сын кадет...»

Но, предположим, — все обойдется. Он же писал, что стихи мои — шедевр, а ведь суть в стихах, а не в возрасте или мундире. Все равно, выйдем, мы, например, на улицу. Он говорит — посмотрите, дорогой друг, солнце сегодня совершенно фиолетовое... А в это время навстречу генерал. И, вместо того, чтобы согласиться, — да, вы правы, как фиалка, или со вкусом возразить: «Фиолетовое? Я бы сказал, зеленатое...» — надо вытягиваться во фронт (три строевых шага, поворот на каблуках — ать-два). Он пред-

ложит — зайдем в ресторан, поболтать за бутылкой вина. — Извините, мне можно только в кондитерскую. Да и в кондитерской беги сейчас же к офицеру. — Господин поручик, разрешите сесть...

После долгого раздумья, я решил выждать, когда уедет в деревню старший брат, и отправиться к К. в его штатском костюме. Я уже примерял тайком этот костюм: немного мешковат, и брюки надо подворачивать — но, в общем, прилично. Пока же я отослал К. тетрадь новых стихов, с припиской, что болен и зайду, когда поправлюсь...

... Был понедельник, но я сидел дома, «отдуваясь», как говорилось в корпусе, от какой-то «письменной». Было часа два дня. Я с грустью поглядел в окно — в учебные часы благоразумнее не выходить. Вот идет, например, генерал. — Кадет, почему вы не в корпусе? Ваш билет. — Неприятностей не оберешься.

... Генерал за окном перешел улицу, осмотрелся и завернул за угол — как раз к нашему подъезду. Это был сухонький, строгого вида старичок, военный доктор, в очках и с малиновыми отворотами шинели. Я отошел от окна и сел за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась...

Вдруг брат, тот самый, на костюме которого я рассчитывал, — вбежал в мою комнату с взволнованным видом. — Вот, — достукался, — пришел доктор из корпуса — проверять, болен ли ты...

С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.

— Зашел познакомиться, — сказал он, протягивая мне обе руки. — Я — К., — редактор «Студии Импрессионистов»...

**
*

... Ярко начищенная медная доска. Доктор меди-

цины К., часы приема. А повыше, на красном сукне двери, кнопками приколот клочок оранжевого картона:

Клуб равнодействующих.
Асоц-худ-поэт-фут-куб,
Импрессионистов.

Квартира большая, солидная. Приемная с тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медведь с блюдом пыльных визитных карточек.

На столе — старая «Нива», на стенах — пожелтевшие группы: «Военно-медицинская академия 1879 г.», «Ярославль 1891 г.». Все, как полагается.

Но вперемежку с номерами «Нивы» и проспектом Эссентуков — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, как елочная хлопушка, Альманах «Засახаре-Кры» и обличительный увраж «Тайные пороки академиков». И на стенах, вперемежку с группами, — картины.

Картины, мало подходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними что-то пестрое, всех цветов, и по пестроте — надпись «Астрахан... сельд...»

Это все работы самого К. Подарки друзей и единомышленников по «асоц-худ-фут-куб-у» — украшают кабинет.

В кабинете, у большого письменного стола, в мягком свете лампы — две фигуры. Дымя душистой папироской, заложив руки в карманы мягкой, серой тулурки, поблескивая золотыми очками — доктор беседует с пациентом.

Сразу видно, что сидящий напротив — пациент. И вряд ли не душевно-больной.

У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий, волосы всклокочены. Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом слове, голова трясется на худой, длинной

шее. Он берет папиросу и не сразу может закурить — так дрожат руки. Закурил и сейчас же бросает, хватая новую папиросу, чтобы опять бросить...

Иногда он что-то порывисто шепчет. Доктор, поблескивая очками, кивает седой головой и делает карандашом какие-то пометки. Отмечает ход болезни. Пишет рецепт.

Но прислушайтесь к их разговору.

— Отлично, — говорит доктор. — Форма бытия треугольник. Следовательно, душа — треугольна.

— Дддаа, — дергается «пациент». — Ттттреугольна нии ппрпрямоугольна.

— Хорошо, — кивает доктор. — Значит, запишем: Душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг...

— Ннет, — волнуется «пациент». — Ннет... Пишите — ччрево — ддреву.

— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему же древо? Ведь наша задача формулировать как можно точнее...

— Ддреву. — настаивал пациент. — Ддреву. — Голова его начинает трястись сильнее. — Ддреву-ччрево...

— Ну, хорошо хорошо — не волнуйтесь, милый. Ддреву, так древо. Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..

— Искусство — Укус-то! — просяив, вставляет «пациент»...

Доктор тоже сияет. Находчиво. Поразительно. Глубоко. Укус-то. Bravo-bravo... Но — это не формула. Давайте искать формулу. Что вы скажете о слове «Сосуд»?

Это основопологатель русского футуризма К. и «гениальнейший поэт мира» «Велимир» Хлебников составляют тезисы философского обоснования нового направления. Но каждую минуту картина может измениться: с Хлебниковым сделается страшный припадок

падучей, и его собеседнику придется вспомнить о другом искусстве — врача.

**
*

Эта солидная квартира, эти группы по стенам, эти генеральские погоны, золотые очки, неторопливые манеры седеющего профессора, — все это призрачное.

Несколько лет назад в этой квартире жил действительный статский советник К. Принимал пациентов, ездил на лекции, писал научные статьи — делал все, что полагается делать, жил, как полагается жить. В свободное время он немного занимался живописью, бывал на выставках. Но свободного времени было мало: начатые картины по месяцам валялись неоконченными. Вон там, в темном проходе, еще висит одна: «натюр-морт» — кувшин, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Действительный статский советник К. подражал фламандцам.

Но в один холодный январьский день — К. уехал, как обычно, в госпиталь или в Академию, и больше не вернулся. В его шинели и очках, с его лицом и походкой, открыв дверь его французским ключом, в эту квартиру вошел другой человек...

Между десятью утра и семью вечера, доктор медицины, действительный статский советник К., где-то в закоулках засыпанного снегом Петербурга потерял свою прежнюю душу.

Вот рассказ его самого:

— ... Шел через мост — захотелось размять ноги. Думал о делах — пациентах, лекциях... Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был ни взволнован, ни в каком-нибудь особенном настроении. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала, — все по глазам, по глазам... А она встать не может, только дергается... И в эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноост-

ровскому. Еще не совсем стемнело, и вдруг вспыхивают фонари. — Знаете, как это прекрасно...

— Ну?

— Все. Больше ничего. В эту минуту — перевернулось во мне что-то. Точно я совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, думаю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал. — Ваше превосходительство, ваше превосходительство... — Посадил меня на извозчика. С тех пор...

... С тех пор на квартире на Кирпичном все вверх дном. В 3 часа ночи Крученных по телефону требует денег. В гостиной ночуют бездомные футуристы.

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина...

Несется утром из ванной раскатистый бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного... И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе «кофе» — графин водки и огурец...

Как я люблю беременных мужчин...
Н. И., до зарезу нужно двадцать пять...
Искусство — укус-то...
Асоц-поэт-худ-фут-куб...

Среди этого сумбура К. чувствует себя прекрасно. Пятьдесят лет «убито» на спокойную, размеренную жизнь профессора. Кто знает, много ли осталось? Так, по крайней мере, пусть каждая минута из этого остатка не пропадет...

— Старый дурак... Пятьдесят лет жизни...

Но ничего, ничего — наверстаем...

К., повторяя эти слова, посмеивается как-то странно. Как-то странно подергивает бородку, поблескивает глазами из-под золотых очков...

— Сколько можно было сделать!.. Сколько пережить... Но ничего, ничего...

Станный смешок, странный взгляд. Что-то томительное есть в них.

И собеседник в генеральской тужурке, с подозрительной чуткостью, живо оборачивается:

— Вы думаете, я сумасшедший?..

**
*

Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых «шедевров» у меня быстро прошел. Я завел новые литературные знакомства, более «подходящие» для меня, чем общество Крученых и Бурлюков. С К. видался все реже, мельком, случайно. И очень удивился, когда в январе 1913 года получил на знакомой мне буро-зеленой бумаге настойчивое приглашение приехать вечером.

Я поехал. Почему было бы не поехать? Судя по записке, у К. должно было состояться какое-то собрание — не то спектакль, не то закрытый доклад. Я был, повидимому, единственным приглашенным из «правых кругов» — честь, оказанная в знак «старой дружбы». Отклонить эту честь было бы неразумно. Уж, если у К., да «приватное собрание» — значит, будет на что поглядеть... И еще эта интригующая приписка: «Приглашение предъявлять при входе».

Но изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей — приглашения не спросил. Он благовопитаннейше пожал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было, по тем временам, громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба из «пугача» в публику... В соединении с такой репутацией забавны были его светские манеры

и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу.

... Большая комната была полна народу. Большинство я не знал. Какие-то молодые люди с геометрически-разрисованными лицами, какие-то взволнованные девицы... Взлохмаченная поэтическая копна и залитый пробор, синяя блуза и соболя... Смешанное общество.

На возвышении сидел К. Я не узнал его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно бледное — густо напудренное. Одет — в широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обруч.

... Военно-Медицинская Академия... Николаевский госпиталь... Вытянувшийся в струнку ординатор: — Ваше превосходительство, честь имею...

... К. сидел на своем золоченом возвышении неподвижно, как идол. Перед ним Крученных, с толстой восковой свечой в руках, бормотал что-то непонятное глухим истерическим шопотом. Потом, вдруг, взвизгнул, заголосил, закатился. Из первого ряда бросились его поднимать. Но он сейчас же вскочил с лицом перекрошенным, восторженным...

— Свершилось, свершилось, — визжал он уже совершенно, как кликуша. — Вот... он... приял власть... владыка... футурист... царь революции... — И вся зала визжала, аплодировала, топала. Хлебников бился в припадке. Фальцет Крученных перекрикивал всех: — Приял... владыка... царь...

К. сидел все так же неподвижно, скрестив руки, наклоня слегка голову. По его лицу напудренного идола расплывалась тихая бессмысленная улыбка...

... Я разыскал свое пальто в ворохе других — собачьих воротников футуристической братии и чьих-то бобров, лежащих вперемежку. Перчаток не было — Бог с ними, с перчатками. Поскорее бы выбраться отсюда...

Солидная, обитая красным сукном дверь мягко за

мной захлопнулась. Солидная медная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами:

Доктор медицины... Прием... Ухо, горло, нос...

... Старый дурак, на что ты убил пятьдесят лет жизни?..

... Но ничего, ничего — навестаем...

... Вы думаете — я сумасшедший?..

**
*

Я больше не бывал у К. после этого вечера, да и он не приглашал меня. Должно быть, мне не удалось скрыть при встрече с ним, после его «коронации», неловкости, которую я испытал. Изредка я продолжал встречать его то здесь, то там — такого же, как всегда, — солидного, серьезного, поблескивающего очками и погонями. Потом началась война... Потом, в начале лета 1917 года, в ясный, веселый, солнечный день, какой-то знакомый, встретив меня на Невском, сообщил:

— Знаете — К. умер.

— От чего?

— От страху.

— Как так?

— Так. Он шел по улице. Навстречу грузовик с солдатами. Видят — генерал. Схватили, повезли в Думу. Там его продержали полчаса и, конечно, выпустили с извинениями. Он приехал домой и слег. Пролежал два дня и отдал Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень. Несчастный!..

III

Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждение своего мнения Толстой процитировал северянинское: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». Действительно, благодаря этому, имя будущего (увы, недолговечного) кумира эстрад и редакций промелькнуло на страницах газет (до сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков: «к сожалению, не подошло»). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне «легально»: Игорем Северянином заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов и «лансировали» его.

Была весна 1911 года. Мне было семнадцать лет. Я напечатал в двух-трех журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами.

Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роясь однажды на «поэтическом» столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшую сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати — что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, Подъяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс — по четвергам, из-

дателей по средам, поклонниц по вторникам и т. д. Все дни недели были распределены и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько стихотворений. Они меня «пронзили». Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои (только месяц назад мне внушили, что Дм. Цензором не следует восхищаться...). Но, повторяю — они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, — Сологуба.

**
*

Меня соблазняло, однако, я не сразу решился пойти на прием на Подъяческую улицу. Как держаться, что сказать? Идти в качестве молодого поэта? — в этом было что-то унижительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы. Я нашел выход: приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем... своей собственной книги (семьдесят пять рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте).

Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ехал с Каменноостровского на Подъяческую. Несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами, — человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем ваньке к дворцу на Подъяческой, когда надменный слуга в фиалковой livрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором?..

Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступить было поздно...

Игорь Северянин жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. Домовая администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызанной лестнице. На приколотой кнопками к входной двери визитной карточке было воспроизведено автографом с большим росчерком над ъ: Игорь Сѣверянин. Я позвонил. Мне открыла маленькая старушка, с руками в мыльной пене. «Вы к Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчас им скажу». Она ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален невымытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешенным для просушки бельем...

«Принц фиалок и сирени» встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене — был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было.

После молчания, довольно долгого, он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть. Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи, — и отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность, скорее, привлекательная: крупный рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскоре мы, действительно, подружились.

Я стал частым гостем на Подъяческой. Совсем но-

вый для меня, быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства. Но ходить на чай к Кузмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по «Венам», «Черепенниковым» и «Давидкам», участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне, с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря, и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подъяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с «редакционными» собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директориатом» при нем. Это были — я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати, и Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и вполне бесталаный.

«Директориат» решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эго-футуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: «Призма стила — реставрация спектра мысли...»

Кстати: этот манифест перепечатали очень многие газеты и, в большинстве, его комментировали или спорили с ним вполне серьезно!

**

Однажды на Подъяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение «реставраторов спектра мысли».

Кошелек был не очень тугой: нередко, для нужд издательства, золотые часы Ивана Васильевича Игнатьева отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета «Петербургский Глашатай»; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием. Стихи назывались поэмами, издания — эдициями, редактор — директором. На летний сезон к услугам эго-футуристов была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородец». Она выходила в Нижнем-Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному, и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я, помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк пошляк и бездарность... Гонорара, понятно, нам не платили.

В маленьком деревянном «собственном доме», на углу Дегтярной и восьмой Рождественской, в редакции «Петербургского Глашатая» происходили время от времени «поэзо-праздники», о которых для «эпатирования», особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «вержетками» (верже — сорт бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт и филе молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще. Полбутылки Крем де Виолетт'а (фирмы Cusimier, продавался у Елисеева) украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так, однажды, некто Петр Ларионов, на сорок пятом году соблазненный футуризмом, занимавший

странную должность заведующего царкосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой (он носил поэтическую шевелюру), с лицом, раскрашенным, как у индейца, и с бубновым тупом на спине.

Этот Игнатьев, на вид нормальнейший из людей, — кругло- и краснощекий, типичный купчик средней руки, очень страшно погиб. На другой день после своей свадьбы, вернувшись с родственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.

**
*

Моя дружба с Игорем Северянином, и житейская, и литературная, продолжалась недолго. Я перешел в Цех Поэтов, завязал связи более «подходящие» и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северянином мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью. Мы расстались (две-три позднейшие встречи в счет не идут), когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по пятьдесят вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости (что, в сущности, все равно для «техники славы»). Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал Городской Думы не вмещал всех желающих попасть на его «поэзо-вечера». Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России... Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить.

IV

Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана.

Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поешится: «бр... проклятый климат...»

Ежимся и мы. Но,

ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады...

И туман, туман — душу этих «льдов и садов»...
«Невы державное течение, береговой ее гранит»,
— Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы, — все это внешность, платье. Туман же — душа.

Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вокзала, прямо:

В желтый пар петербургской зимы,
В желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно любил».

Впрочем, — все это общеизвестно.

На Невском шум, экипажи, свет дуговых фонарей, «фары» Вуазенов, «берегись» лихачей, «соболя на плечах и лицо под вуалью», военные формы, сияющие витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтер-ден-Линден. И туман здесь «не тот» — европеизированный, нейтрализованный. Может быть, «тот» настоящий петербургский туман и не существует больше?

Нет, он тут, рядом, в двух шагах. В двух шагах от этого блеска и оживления — пустая улица, тусклые фонари и туман.

В тумане бродят странные люди.

Поверните по Малой Конюшенной за угол. Два-три дома и вот:

В серый цвет окрашенные стены,
Вывеска зеленая «Портной».

Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается «пристойное однообразие». Должно быть, начитался Курбатова градоначальник.

Вывеска портного — черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холод вывески: «Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене». А рядом с запиской подsunута желтоватая визитная карточка:

Николай Карлович Ц., свободный художник, не о к о н ч и в ш и й С.-Петербургской консерватории.

— Николай Карлович дома?

И, не подымая лохматой головы от чего-то бурого и замасленного, перелицовываемого или переделываемого, — портной хмуро отвечает:

— Спит.

Спит — значит, дома. Что же можно делать

дома, как не спать, после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего.

В большой комнате полутемно, шторы опущены. В сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг. В углу, на кровати, кто-то похрапывает...

— Николай Карлович!

Дремлющий грузно переворачивается, заставляя трещать все пружины матраца.

— Чего надо? К чорту! Который час?

— Поздно. (Действительно не рано — пятый час дня). Вставайте.

Всклопоченная голова тяжело приподымается с подушки. Руки выпрастываются из-под шубы. Голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит:

— Будьте добры, «мон шевалье», если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты.

При свете впечатление от комнаты меняется.

В сумраке она выглядела приличной, даже внушительной. Высокий потолок, раскрытый рояль, «следы труда и вдохновенья»... Но при свете...

Пол в окурках, спичках, бумажках. Груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов.

На рояли прикапан, прямо к доске, огарок восковой трехкопеечной свечки. Другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи: «Бехштейн». На стенах, подтеками сырости, углем нарисованы рожи: Адам и Ева, срывающие плод (крайне натурально), коты с задранными хвостами, черти. Кровать — хаос пестрого тряпья. На ночном столике — бутылка, с водкой на донышке.

Хозяин, свободный художник, «не окончивший консерватории», — толстый, опухший, давно небритый. Выражение лица — смесь тошноты после перепоя и иронии. Но в манерах протягивать руку, наде-

вать плохо слушающимися пальцами пенснэ, закури-
вать длинную папиросу — какая-то респектабельность.

— Очень мило, дорогой маркиз, что вы навестили
старого пьяницу. Прошу садиться...

**
*

Если в Петербурге особенный туман, то самый
«особенный» он вечерами на Васильевском острове.

На пересечении проспектов Большого, Малого
и Среднего — пивные. На Василеостровских «линиях»
туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы
электричества, пьяного говора «Китайночка» из хрип-
лого рупора:

После чая, отдыхая,
Где Амур река течет,
Я увидел Китайнку...

Некоторые пивные замечательные.

Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на
солидных и спокойных клиентов — немцев же. Со-
лидные мраморные столики, увесистые пивные круж-
ки, фаянсовые подставки под них с надписями, вроде:

— *Morgenstunde hat Gold im Munde.*

На стенах кафелями выложены сцены из Фауста,
в стеклянной горке — посуда для торжественных слу-
чаев. Она давно под замком, — старых, хороших
клиентов давно нет, солидная немецкая речь давно не
слышна. Теперь в этих «Эдельвейсах» и «Рейнах» —
собираются по вечерам отребья петербургской бо-
гемы.

... Визжит и хрипит разудалая Китайнка. Зеркаль-
ные, исцарапанные надписями, стены сияют невымытым
блеском, жирная белая пена ползет по толстому
стеклу.

— Человек! Еще парочку. Тепленького!

От теплого пива скорее «развозит». Холодное пьют одни «пижоны».

... Китайка, китайка,
Китайночка моя...

К десяти вечера — «Эдельвейс» полон. «Торгуют» официально до двенадцати — засиживаются гости до часу. Потом «Доминик» на Невском, — открытый до трех ночи... А в четыре утра, на Сенной, начинают открываться извозчицьи чайные — яичница из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи ска-терти. Это называется пить «с пересадками»...

... Китайка... Китайка...

Почти все столики полны. В углу — три стола сдвинуты рядом под пыльной, искусственной пальмой. Этот угол — поэтически-литературный-музыкальный. Там председательствует Ц. И идут бесконечные разговоры.

Вот Ш., поэт, вечный студент — длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке. Необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него «путешествие с пересадками» начинается с утра — вместо кофе, стакан водки и две кильки. Он уже совсем пьян — и замогильным голосом толкует что-то о Ницше. Г., тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает:

— Романтизм, романтизм... Новалисс... Голубой цветок.

Еще какие-то люди. Тоже поэты или музыканты, или философы, — кто их знает. Шумней всех М., — актер, неспившийся и даже не пьяный, — притворяется только. Зачем он притворяется? Всем известно, что от Доминика он уже улизнет — домой, спать. Ведь, завтра — репетиция — Боже сохрани — пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль — а

приходится не только за себя, и за других платить. Зачем же он это делает?

Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот, подите же...

М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост. Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет... — Выпьем за искусство... Построим лучезарный дворец... Эх, молодость, где ты...

Пьяницы-непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М. притворяется, что никаких «разбитых надежд» заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично, — с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья. — Человек! Еще парочку!..

... Китайка — китайка... Романтизм... голубые дали... Так говорил Заратустра...

Голос Ц., — хриплый и барственный, — вдруг покрывает все это:

— Если есть бессмертие души... Да... А оно есть... И Бог спросит меня... Там... Что ты, Николай, сделал... Сыграй!.. я ему сыграю... Да... Я ему сыграю...
Ч и ж и к а.

— И буду... прав, а?..

— Прав... прав... — кричат пьяные голоса. — Здорово, Ц... Так и надо. Чижика ему... Выпьем...

М. в восторге лезет целоваться.

**

Сталкиваясь с разными кругами «богемы», делаешь странное открытие:

Талантливых и тонких людей — встречаешь больше всего среди ее подонков.

В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность. «Либо пан, либо пропал». Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Про-

пал». Но мог стать паном и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало — голова «слабая», и воли нет. И произошло обратное «Пану» — «пропал». Но шанс был. А средний, «чистенький», «уважаемый», никак, никогда не имел шанса — природа его совсем другая.

В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, — гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость.

Ц. начал блестяще.

... вот был в консерватории мальчик Ц. Какой был Божий дар, — вспоминал старичок-генерал Кюи. — Если бы остался жив — понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах!

— Да Ц. не умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсона. Очень талантливый, конечно, хотя...

Кюи качал головой. — Романс? Талантлив? Нет, не тот Ц., не может быть тот. Тот, если бы жил — показал бы...

Так как Ц. не умер и не «перевернул понятия о музыке», — ему оставалось единственное — спиться.

... Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающие огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.

Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок — не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.

В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в «мертвом, беспощадном свете дня» в лице Ц.: опухлость бессонных ночей, давно небритые щеки, едкая, безнадежная «усмешечка» идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись...

Ц. берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.

— К чорту! Я буду играть так.

«Так» — значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Ц., — ни на что не похоже.

Сначала — «полосканье зубов» — как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно, отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять, — шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. — Вот так импровизация! — Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..

Тс... Не прерывайте, и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А... слышите теперь?

... Среди тысячи деревянных ложек — есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу...

Слышите?

Ее едва слышно, она, скорее, чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает — этот деревянный гул. И гул уже не деревянный — он гложет, отступает, слабеет...

Не отрывая пальцев от клавиш, Ц. оборачивается к слушателям. Его лицо раскраснелось, глаза шальные. Он перекрикивает музыку:

— Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!

Не обращайте внимания на это дикое «пояснение». Слушайте, слушайте...

... Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что непохожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступила минута, когда:

Все исчезает, — остается
Пространство, звезды и певец.

Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:

— Ну, довольно ерунды!

— Какую прелесть вы играли, Н. К. Почему вы не запишете этого?

— Записать? — Деланно-глуповатая усмешка. — Записать? Пробовал-с. И неоднократно. Н е п о д д а е т с я записи...

Да и к чему. И так слышно. «Имеющие уши да слышат», — затягивает Ц., как дьякон. Потом жеманно раскланивается:

— Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман Эдельвейс?

Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Ц. — и удивился:

Гладко причесанный, чисто выбритый, — он старательно завязывал «художественный» бант на белоснежной рубашке. Визитка... разутюженные брюки... Запах одеколona... Что за чудеса?

Ц. улыбнулся.

— Поражены блеском моего туалета, синьор? Думаете, что с старым пьяницей? Сошел с ума? Получил наследство? Идет свататься?

— В самом деле, Н. К., куда вы так наряжаетесь?

Ц. шелкнул языком: — «Много будете знать»... Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю — прелюбопытное зрелище... и недурной ужин. Едемте, в самом деле, — не пожалеете.

— Куда?

Он сделал важную мину.

— В Санктпетербургское общество внеслуховой музыки. Да-с — внеслуховой. Не слышали такого термина? И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне...

Он переменял выпененный тон на свой обычный, — идем, не пожалеете. Да что объяснять — увидите сами.

Делать мне было в тот вечер — нечего. Я поехал.

... Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар, молча, поклонившись, снял с нас шубы. Так же молча лакей повел нас через какие-то, пустовато и дорого обставленные комнаты. Мне стало неловко — являюсь в чужой дом, никем не званный, да еще в сером костюме...

— Чушь, — сказал на это Ц. — Здесь на пиджаки не смотрят. Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека. Да, вот мы здесь какие... Конечно, смотрят в книгу, видят фигу — это уж «общечеловеческое», — но поползновения-то благие...

... В большой, неярко освещенной гостиной было человек двадцать. Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов. Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида.

Ц. встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки, все это безмолвно, как в кинематографе. — Глухонемые, — шепнул он мне. — Все глухонемые. Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились слушать. Не

звук голоса, конечно, а жесты, движения губ. Народ нервный. Сядьте вон там. Сейчас начнется.

...Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым светом диск в поларшина диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и грузную фигуру Ц. за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина.

И вот Ц. ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки — послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного — от бледно-розового, до пунцового...

Так вот она, внеслуховая музыка!

Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц. Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по диску в дикой какофонии красок.

И вдруг... в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. — Глухонемые слушатели начали п о д п е в а т ь.

Сначала робко, тихо, потом все сильнее. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье — лай, бляенье, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату...

Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко — видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выделывая ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя...

... Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный страшно замычал в благодарность. Пока я одевался — Ц. догнал меня в прихожей.

— Уходите? Испугались? Что за глупости?!. Я проиграю им еще две-три вещицы, и потом будем ужинать, всей семейкой. Оставайтесь, право. Если не вмоготу слушать — посидите где-нибудь в другой комнате.

Я сослался на головную боль — и, действительно, голова начинала трещать. Ц. пожал плечами — ну, до свидания. Так уж не понравилась музыка? А знаете, кстати, что я им играл и что они подпевали? — Ведь, они перед концертом готовятся, разучивают по нотам — Девятую симфонию!..

V

На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин — доктор эстетики, *Honoris Causa*. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку — вы не успевали прочитать этот громкий титул. «Доктор эстетики», веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятье и несколько сочных поцелуев, куда попало, были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного.

Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся и не потому, что не хотел бы навестить приятеля, — человек он был до крайности общительный, — а просто времени нехватало. Всегда у него было какое-нибудь дело и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, — механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов?

Пронин всем говорил «ты». — Здравствуй, — обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в «Бродячую Собаку». — Что тебя не видно! Как живешь! Иди скорей, н а ш и (широкий жест в пространство) все т а м...

Ошеломленный или польщенный посетитель — адвокат или инженер, впервые попавший в «Петербургское Художественное Общество», как «Бродячая Собака» официально называлась, беспокоило озира-

ется, — он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронин уже далеко.

Спросите его:

— С кем это ты сейчас здоровался?

— С кем? — широкая улыбка. — Чорт его знает.

Какой-то хам!

Такой ответ был наиболее вероятным. «Хам», впрочем, не значило ничего обидного в устах «доктора эстетики». И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств.

Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос, — была безнадежна. — Понимаешь... знаешь... клянусь... гениально... невероятно... три дня... Мейерхольд... градоначальник... Ида Рубинштейн... Верхарн... смета... Судейкин... гениально... — как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз.

«Гениальное» дело, конечно, не выходило. Из-за «пустяка», понятно. Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально... невероятно... изумительно... Рихард Штраус...

Умудренный опытом, обольщаемый жметя.

— Да ведь и в прошлый раз по вашим словам выходило, что все устроится.

«Ах, Боже мой, что за человек, — выражает лицо Пронина, — не хочет понять простой вещи. — Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш. Теперь все пойдет изумительно, вот увидишь»...

И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой, работающей впустую, машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.



Машина, впрочем, работала не совсем впустую, какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. «Что-то», в конце концов, получалось или «наворачивалось», как Пронин выражался.

Так, навернулись по очереди — «Дом Интермедии», потом «Бродячая Собака», наконец, «Привал Комедиантов». Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии, и своей и чужой, на них убито.

Пронин хлопотал над устройством «Привала Комедиантов». «Машина» работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было; какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права; вода бежала со всех стен (это еще ничего) и из только-что устроенных каминов, что было хуже, т. к. без каминов, как же было сушить стены?

Воду откачивали насосами. Вместо подмокших поленьев накладывались новые, вода из Мойки, на углу которой «Привал» помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод (в волнении, он всегда снимал пиджак, где бы ни находился), в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанный сажей и краской, распорядился, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра (это завтра тянулось уже месяцев шесть) они получают деньги, сам хватался за насос, сам подливал керосину в нежелающие гореть дрова...

Зашедших его навестить, он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения.

«Это, — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату, со стенами в бурых подтеках и кашей из известки и грязи вместо пола, — «Венецианский зал». Его устро-

ит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок...

— Так ведь будет неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, в е н е ц и а н с к а я... Но ничего, с в о и будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублевые места...

А здесь — монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев — изумительно распишет. Вот — смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже.

На стене уныло торчит газовый «бек». По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении.

— Специально проводили, — горделиво щелкает по нему Пронин. — В семьсот рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато, — шик, — совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать.

— А здесь что?

Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого.

—Здесь... — так, уголок, бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван...

— А эта комната напоминает купальню.

— Купальню? — Пронин прищуривается. — Купальню? Гениально! Изумительно! Именно, здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды (ее-то хватит!). Разноцветные стены, стекла... в бассейне плавают лебеди... свет сверху...

— Ну, свет сверху мудрено устроить...

— Ничуть — проломим потолок.

— Это шесть этажей проломаете?

— Что же такого? Сниму все квартиры и проломаю... Впрочем, кажется, я того — фантазирую...

— Борис Константинович, — вбегает мальчишка-обойщик, с озабоченно-восторженным лицом. — Вода!

— А, черт! — И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в «Венецианский Зал», откуда слышно глухое плескание заливающей пол воды...

**

Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова Поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, т. е. домовладелец — мягкий человек — покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь, покуда, в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием «друга Бродячей Собаки». Ресторатор, итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях — больше обедали в кредит.

У этого Франчески Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Так, однажды, Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Их надо отпраздновать. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так: он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского — и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час, в маленьком и тесном помещении «Франчески» набилось человек шестьдесят, желавших чествовать «дорогого именинника». Сдвинули столы; пошли в дело и кисловатое «каберне», и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и

кьянти, конечно. Пил «именинник», пили его «друзья», пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, «все съедено, все выпито», ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает.

— Это... это что такое?

— Счет-с, Борис Константинович.

— А это?.. — Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица, выбирает место, чтобы сесть, — тычет в сумму счета.

— Двести рублей-с...

Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице «именинника». Он минуту молчит, потом патетически восклицает:

— Хамы! Кто же будет платить!..

.

Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты «Собаки», с соломенными табуретками и люстрой из обруча, на Венецианские залы и средневековые часовни «Привала» внушила ему Вера Александровна.

Портрет «Веры Александровны», «Верочки» из «Привала» должен был бы нарисовать Сомов, никто другой.

Сомов — как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод, — Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката «Императорского Петербурга».

Я так представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькроа, — уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, — только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом

врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно-белые, точно набеленные, беспомощно и желовко прижаты к груди, со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность. И старомодное что-то: складки парижского платья ложатся как кринолин, крупная завивка напоминает парик.

Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство...

**
*

Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится — его чествовали и, тоже, как водится, чествование вышло бестолковое, и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть, намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, — все это почувствовали, — и устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к «дорогому учителю», под стук ножей, и гавканье, ни с того, ни с сего «ура» — с дальнего конца стола, где успела напиться малая литературная братия. «Сервис» «Малого Ярославца» с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина... Словом, лучше бы его не было — этого банкета.

Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза шурились, маленькие губы улыбались...

Кто это? Я спросил своего соседа, тот не знал. Еще кого-то — то же. Верхарн очень оживленно и

любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось хаос, и через пятое — космос.

Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин — «доктор эстетики», директор «Собаки». Жилет его фрака уже был растегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки...

— Борис, кто эта дама?

Вездесущий доктор эстетики пожал плечами:

— Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном...

И глубокомысленно добавил:

— Может быть, это жена его или (блаженная улыбка) или... племянница.

Пронин, повидимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге, через полгода, появился другой поэтический гость — Поль Фор, — Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее:

— *Voilà la maîtresse du Chien...*

Он желал сказать — хозяйка «Бродячей Собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого «доктора эстетики».

**

Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания:

— Я бы согласилась на какую угодно муку, как Андерсоновская ундина — при каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям, — только бы власть, власть над людьми...

— Власть над душами или... ну, как у исправника или царя?

— Ах, — всякую! Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться...

— Вам бы в Мексику, В. А., там это можно — женщин в губернаторы выбирают.

Но она не слушает.

— Власть, — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово. — Власть... Над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать — над кем-нибудь, значит унижать его. Унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает...

Она смеется.

— Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, может быть, у Гюисманса...

И, таинственно, точно секрет, сообщает:

— Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег.

— Все хотят, В. А., — отвечаю я ей в тон тем же таинственным шопотом.

Она топает ногой.

— Перестаньте. Разве я так хочу. И... знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?

— Лукреция Борджиа?

— Нет. Тереза Эмбер.

И — «каблуком молоточа паркет»:

— Слаще всего издеваться над людьми.

От стука французского каблучка по полу, синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная, рука протягивает тарелку с кексом...

— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой, у меня не хватило воли. А не то, что...

Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются. И в улыбке этой — какое-то коварство...

**
*

Выйдя замуж за Пронина и став “la maîtresse du Chien”, Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в «Бродячей Собаке». И, конечно, на третий месяц заскучала.

Как было не заскучать? «Собака» — был маленький подвал, устроенный на медные гроши — двадцатипятирублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось сорок человек, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесят. Программы не было — Пронин устраивал все на авось. — «Федя (т. е. Шаляпин) обещал прийти и спеть»... Если же Шаляпин не придет, то... заставим Мушку (дворняжку Пронина) танцевать кадрили... вообще, «наворотим» чего-нибудь... — В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было — за едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были, по большей части, «свои люди» — поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе, и менять они его не хотели... Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести какие-то элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание «друга Бродячей Собаки», и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, — она, по выражению Пронина, — решила «скрутить шею собачке». — По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот, на углу Михайловской и Итальянской — и труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в «Собаку» «буржуйам» была зловещая надпись — «не

прикасаются: смерть», — перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе.

На Марсовом поле был снят огромный подвал — не для того, чтобы возродить «Собаку», — чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего «грандиозного и небывалого». Квартира была тоже огромная, с сажеными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева — печи топились день и ночь, все было в коврах и портъерах и все-таки дыхание вылетало из ртов — струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая и покрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтающая, не знаю уж о чем, — о будущем «Привале Комедиантов» (так называлось новое кабаре), или о власти над душами...

От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяла.

**
*

— Как, В. А., вам и здесь скучно?

— Очень.

— И тесно?

— Да.

— Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?

— Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда Венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...

Она машет рукой.

— Не знаю, может и не буду перестраиваться, или оставлю все Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь...

И высоко подымая подрисованные брови:

— Надоело. Скучно...

Внешность «Привала» была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами — превратился, действительно, в какое-то «волшебное царство». Изпод кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу; «быстро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева, — смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна, в шелках и бриллиантах, торжествующе встречала гостей — ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, он, по старой привычке, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена — бывшее в «Собаке» вполне естественным — здесь было бы неприличным.

Старые завсегдатаи «Собаки» после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового подвала. В «Собаке» садились где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки, где заблагорассудится... Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается

эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые «г. г. члены петроградского художественного общества» могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и услышав, что вы ничего не «желаете», только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоющего» гостя...

... Улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную «полечку» прелестная О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов... Вдруг композитор Цыбульский, обрюзгший, пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках: Пппрошу слова...

— За упокой собачки, господа... — начинает он коснеющим языком. — Жаль покойницу... Борис... Эх, Борис, зачем ты огород городил... зачем позвал сюда — кивок на смокинги первых рядов — всех этих фармацевтов, всю эту св...

**
*

В общем, получался какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в Судейкиных костюмах...

Ну, что же, раз приходят и пьют шампанское...

И я вспоминал: «Больше всего я хочу денег...»

Но вдруг и «Привал», и верхняя квартира, и все фаянсы ост-индской компании, и все платья с глубоки-ми декольте оказались описанными. Оказалось, что «Привал» — не только не окупается — приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались, — через неделю он пойдет с молотка.

— Как же так? — спрашивал я.

Вера Александровна устало поднимала брови:

— Так. Не знаю. Нехватало денег. Я подписывала векселя...

Но через несколько дней она встретила меня веселая. Все удалось. Нашелся новый меценат. На время «Привал» закроется для ремонта, для подготовки программы...

Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой, странно-белой руке старинный нож, только что присланный антикваром.

— Лукреция Борджиа, — пошутил я.

Она засмеялась:

— А? Вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция... Тереза. Вот, прочтите.

Я развернул бумагу.

— Что это?

— Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне, все время, пока «Привал» закрыт, ежемесячно... — Она назвала какую-то большую цифру.

— Только пока закрыт?

Она рассмеялась:

— Господи, какой наивный! Да, ведь, срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и он будет всю жизнь мне платить...

— Как же он подписал такое?

Она церемонно поджала губы:

— О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал, не читая...

**
*

Не знаю, запротестовал ли, наконец, «милый человек», или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать, — но «Привал» все-таки открылся. Летом 1917 года — там за одним и тем же «артисти-

ческим» столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенной Лукрецией в этом обществе.

Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять «не скучно», и какие-то новые «грандиозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключал это по ее виду, — в разговоры со мною она не вступала, — у нее были собеседники поинтереснее.

«Душа», которой нехватало «Привалу» в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917, начале 1918 годов, вряд ли забудут эти вечера.

Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит — кое-где оплывают толстые восковые свечи...

Идет репетиция «Зеленого Попугая». Пронзительная идея сыграть такую пьесу в такой обстановке, не правда ли? Шницлеровские диалоги звучат чересчур «убедительно» и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить «Зеленого Попугая».

Холодно. Полутемно. С улицы слышны выстрелы... Вдруг, топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины вваливается в «Венецианскую Залу». — Граждане, ваши документы!

Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберемся до вас... И снова — оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье...

... «Привал» не был закрыт, — он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеи-

лась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался...

Однажды, в оттепель, лопнули какие-то трубы, и вода из Мойки, старый враг этих раззоренных стен, их затопила.

... И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода.
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели, никогда?

VI

«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик. И вдруг, мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то (Петербург, снег, 1913 год...), русскими, серыми глазами. Это С. Жена известного художника.

— Вы здесь! Давно?

Улыбка — рассеянная «петербургская» улыбка. — Месяц, как из России.

— Из Петербурга?

С. — подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов — что Ахматова?

— Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего Сада. Мало куда выходит — только в церковь. Пишет, конечно. Издавать? Нет, не думает. Где уж теперь издавать...

... На Фонтанке. У Летнего Сада...

1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Ииженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург...

Ахматова протягивает мне руку. — А я здесь сумеречняю. Уезжаете?

Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы:

Спадает с плеч твоих, о, Федра,
Ложно-классическая шаль...

- Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.
- А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?
- Нет. Я из России не уеду.
- Но ведь жить все труднее.
- Да. Все труднее.
- Может стать совсем невыносимо.
- Что ж делать.
- Не уедете?
- Не уеду.

...Нет, издавать не думает — где уж теперь издавать... Мало выходит — только в церковь... Здоровье? Да здоровье все хуже. И жизнь такая — все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять. Да если бы и были...

- Не уедет?
- Не уедет.

— Знаете, — серые глаза смотрят на меня почти строго, — знаете, — Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина... Подала Ане копейку. — Прими, Христа ради. — Аня эту копейку спрятала за образа. Бережет...

**

1911 год. В «башне» — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвет» поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и «таврический мудрец», щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой — произносит приговоры. Вежливо-убийственные, по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так как он едко точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость.

Читаются стихи по кругу. Читают и знаменитости и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой.

Это жена Гумилева. Она «тоже пишет». Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют. Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена способностей. Еще барышней, она писала:

И для кого эти бледные губы,
Станут смертельной отравой?
Негр за спиною, надменный и грубый,
Смотрит лукаво.

Мило, не правда ли? И непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене, как о поэтессе?

А Гумилев, действительно, раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи, как на причуду «жены поэта». И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят — насмешливо улыбается. — Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает.

— Анна Андреевна, вы прочтете?

Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку. Гумилев, с недовольной гримасой, стучит папиросой о портсигар.

— Я прочту.

На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит.

— Я прочту.

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела,
Перчатку с левой руки...

На лицах — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда ли? — Гуми-

лев бросает недокуренную папиросу. Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой...

Что скажет Вячеслав Иванов? Вероятно, ничего. Промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность. Ведь, свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов. А тут... Зачем же напрасно обижать...

Вячеслав Иванов молчит минуту. Потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку.

— Анна Адреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии.

**

В обставленном удивительной «Александровской» мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, художника, только что вошедшего в славу: Руманов положил ей начало, купив этот портрет за «фантастические» для начинающего художника деньги.

Несколько оттенков зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахит — медный купорос. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно зеленых углах и ромбах. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминает, но, напротив, кажется чем-то враждебным:

... в океане первозданной мглы,
Нет облаков и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые металлические звоны.

Цвет едкого купороса, злой звон меди. — Это фон картины Альтмана.

На этом фоне женщина — очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрывает лоб до бровей. Смуг-

ло-бледные щеки, бледно-красный рот. Тонкие ноздри просвечивают. Глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно — точно не видят окружающего.

... Только кубы, ромбы да углы

и все черты лица, все линии фигуры — в углах. Угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей. Даже подъем тонких, длинных ног — углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника! Нет — это живая Ахматова. Не верите? Приходите в «Бродячую Собаку» попозже, часа в четыре утра.

Да, я любила их — те сборища ночные:
 На маленьком столе стаканы ледяные,
 Над черным кофеом пахучий, тонкий пар,
 Камина красного тяжелый зимний жар,
 Веселость едкую литературной шутки,
 И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина.

Мало кто сидит за столиками посредине зала. Больше по углам, у пестро-расписанных стен, под заколоченными окнами.

Навсегда забиты окошки,
 Что там — изморозь иль гроза?

Не все ли равно, что там, на улице, в Петербурге, в мире... От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полупотом.

Здесь цепи многие развязаны,
 Все сохранит подземный зал,
 И те слова, что ночью сказаны,
 Другой бы утром не сказал.

И вдруг — оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают. Рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам. Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером.

Пятый час утра. «Бродячая собака».

Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна!

Да, она очень бледна — от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ — опущены. Ключицы резко выдаются. Глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего.

Все мы грешники здесь, блудницы,
 Как невесело вместе нам.
 На стенах цветы и птицы,
 Томятся по облакам,

но — в океане первозданной мглы

Нет облаков и нет травы зеленой.

Трава, облака, жизнь, смех, — все осталось там — за «навсегда забитыми окошками». Здесь только:

Веселость едкая литературной шутки,
 И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий...

Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.

Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклон-

ники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосом читала стихи, прошло два года. Она всероссийская знаменитость. Ее слава все растет.

Папироса дымится в тонкой руке. Плечи, закутанные в шаль, вздрагивают от кашля.

— Вам холодно? Вы простудились?

— Нет, я совсем здорова.

— Но вы кашляете.

— Ах, это? — Усталая улыбка. — Это не простуда, это чахотка.

И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому:

— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь...

... Несла мешок. Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина...

... Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением.

... Аня эту копейку спрятала... бережет...

В Царском Селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпаящаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка... Комнат много, какие-то все кабинетники с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли...

Тишину вдруг пререзает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

«Розовый друг» хлопает крыльями и злится.
— Маша, — накиньте платок на его клетку...

Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову.

У Гумилевых — последний прием. Конец мая. Все разъезжаются.

— Я так рада, — говорит Ахматова, — что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.

— От скуки? В Париже!..

— Ну, да. Коли целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает — смотрю. Все-таки развлечение.

— Аня, — недовольным тоном перебивает ее Гумилев, — ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.

— Ну, уж и каждый вечер, — дразнит его Ахматова. — Всего два раза.

И смеется, как девочка.

— Как вы не похожи сейчас на свой Альтмановский портрет!

Она насмешливо пожимает плечами.

— Благодарю вас. Надеюсь, что непохожа.

— Вы так его не любите?

— Как портрет? Еще бы. Кому же нравится видеть себя зеленой мумией.

— Но иногда сходство кажется поразительным.

Она снова смеется:

— Вы говорите мне дерзости. — И открывает альбом.

— А здесь, — есть сходство?

Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо...

— Какой у вас тут гордый вид.

— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела...

— Гордились своими стихами?

— Ах, нет, какими стихами. Плаванием. Я, ведь, плаваю, как рыба.

Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтей, точно состарились за два года, голоса тише. На всем — и на лицах, и на разговорах, — какая-то тень.

И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с Альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает, «как рыба». Теперь в ней что-то монашеское.

... В Августовских лесах погибло два корпуса...

— Нет ни оружия, ни припасов...

— У Z. убили двух сыновей.

— Говорят, скоро не будет хлеба...

Гумилева нет, — он на фронте.

— Прочтите стихи, Анна Андреевна.

— У меня теперь стихи скучные.

И она читает «Колыбельную»:

... Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,

Я дурная мать.

Долетают редко вести,

К нашему крыльцу.

Подарили белый крестик твоему отцу.

Было горе, будет горе,

Горю нет конца.

Да хранит Святой Егорий,

Твоего отца...

Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все

больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя — темная, в красные розы. «Ложно-классическая шаль». Какая там шаль ложно-классическая — простой бабий платок, накинутый, чтобы не зябли плечи!

Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество — кто во фраке, кто в тулупе — в нетопленном зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине — невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего — молча. Что ей, т а к о й, сказать. Не спрашивать же, «какживаете».

... Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели — панихида в Казанском соборе по толфко что расстрелянном Гумилеве...

... Да, я любила их, те сборища ночные,
На низких столиках стаканы ледяные...

Ладан. Заплаканные лица. Певчие.

.... Веселость едкую литературной шутки...
И друга первый взгляд...

VII

В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Чорт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним — надпись:

«Просят ядовитое зелье (табак) не курить».

Кто просит? Домохозяин?

Нет. Плакат повешен квартирантом третьего этажа — Сергеем Городецким.

Но как же это он распоряжается. Ведь лифт не его квартира?

Ах, что там — как распоряжается. Кто же ему запретит?

Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание, — как сделаешь? Тот ему — «к сожалению моему, должен вас просить»... — А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу. — Как поживаете, дорогой? Как драгоценное? Супруга что, детишки...

Детей обожает. Рисует им картинки — вот, вроде, как в лифте: «Чортик в печке», «Девять мышек и кошечка Маня». Состроит страшные глаза, сделает «козу», стишки тут же сочинит. — Как тебя зовут? Петя. Ну, так слушай:

Жил на свете мальчик Петя,
Много Петь живет на свете.
Только Петя мой —
Был совсем другой...

Глаза светлые, взгляд открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями. Голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца — «располагающая наружность» и наружность не обманывает: действительно, милый человек. Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком — «бабушка, дай подсоблю». Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит...

Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая. Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове.



«Ядовитое зелье просят не курить». Впрочем, для неисправимых курильщиков — отведен в квартире Городецкого закуток. Если невтерпеж, они туда удаляются. Там, с обязательством плотно притворять двери, они могут вдоволь «отравляться» у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены закутка разрисованы поучительной историей: «Упорный куритель и что с ним было». Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий! За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом... Так и стихи начал писать и, шутя, — прославился. Лег спать никому неведомым двадцатилетним студентом, а на утро — вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
 Стоны звоны, звоны-сны.
 Высоки крутые склоны,
 Крутосклоны зелены...

... Вечером, во вторник — приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков — оче-

редь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там — в центре комнаты — большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», назвал жену «Нимфой»? И почему Нимфа? Скорее уж Церера... Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе — Нимфа».

Вдоль канареечных стен гостиной — в два ряда размещены поэты.

В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяйна дома.

Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт — он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И, обязательно, на рогоже.

Рисует Городецкий всегда на рогоже — это его изобретение. И дешево — и есть в этом что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И, хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи, — Городецкому искренно кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина, в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к «родной неумной стихии», чем если бы то же самое он изображал на полотне.

С одной стороны «стихия», с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож, — чем не мозаика?

Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг — Гумилев. После «разговора в ресторане, за бутылкой вина» об Италии — с Гумилевым, Городецкий, час назад вполне равнодушный, — «влюбился» в нее со всей своей

пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственноручно и немедленно.

И вот, через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя «итальянчикам» козу. Ничего — понравилось.

**
*

Портреты на рогожах сияли всей пестротой красок. Оригиналы их, размещавшиеся вдоль стен, выглядели, естественно, более буднично. Они разделялись на просто гостей и гостей почетных. Первые были в пиджаках и воротничках и изъяснялись на «мертвом интеллигентском языке». Вторые говорили на ó и нараспев и одеты были в поддевки и косоворотки.

У Городецкого, при всей переменчивости его взглядов и вкусов, было одно «устремление», которое не менялось: страсть к лубочному «русскому духу»... Безразлично, что «воспевал» он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых строчках. Их лубочная суть оставалась все та же — не хуже, не лучше. «Сретенье Царя» не отличается от оды Буденному, и описания Венеции слегка отдают «чайной русского народа»...

Естественным дополнением пристрастия к «русскому духу» было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими.

Казалось бы, что дурного — если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим. Тем более, начинающим «из деревни», самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив — хорошо.

Но получалось плохо. Даже очень.

Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. Шестнадцатилетний, робкий, бредящий стихами. Его

мечта — стать «настоящим писателем». Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою «серость». Вот он уже как-то «расстарался», справил себе «тройку», чтобы не отличаться от «городских», «ученых». Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем своим шестнадцатилетним «напором» старается стереть это различие. Конечно, такое рвение тоже не безопасно, — слишком усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке.

Понятно, что Есенин и вообще «Есенины», пообмерзнув в традиционном петербургском «холоде», — были счастливы, когда встречали Городецкого.

После месяца хождения с тетрадкой стихов «по писателям» — деревенский начинающий смущен и разочарован.

Писатели — люди «черствые», равнодушные, смотрят на него, как на обыкновенного новобранца литературного войска, — много их ходит, с тетрадками. Холодное одобрение Блока... Строгий взгляд через лорнетку З. Гиппиус... Придирчивый разбор Сологуба — вот эта строчка у вас не дурна, остальное зелено... И ко всем этим скупым похвалам — один и тот же припев: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдруг, знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой «родной душой». И в первой же беседе с этой родной душой — полная «переоценка ценностей». Начинающий из деревни (как и всякий начинающий) сам считал, конечно, что «свет его недооценивает», но вряд ли, до беседы с «родной душой», — понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп. Оказывается — он гений, это реше-

но. И не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного. И много проще. Все эти штуки с упорной работой — для интеллигентов, существ низших. Дело же народного гения — «выявлять стихию». Вот оно что. «Серость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихия». Скорее вон из головы «мертвую учебу», скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику, заливчатскую частушку.



Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезон новыми «соблазненными мужичками», кроме домашних собеседований, — где «гениально», «выше Пушкина» и т. п., звучало обыденной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера — «Гала», так сказать. Там

... Было все очень просто, было все очень мило...

На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два «аржаных» снопа (от частого употребления, порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается «интеллигентское безличие» эстрады, и создается настроение, близкое к «стихии». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... В обычное время он висит в том же кабинете — у печки.

Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно-сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный глаз иногда различит под косовороткой очертание твердого пластрона —

это значит, что, после вечера, надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать «Нимфа», и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга.

Городецкий ударяет в свой «тимпан» и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов.

Сергей Есенин...

Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин.

На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи, пук васьильков — бумажных.

Выходит он подбоченясь, весь как-то «по-молодечки» раскачиваясь. Прорепетировано, должно быть не раз. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, верно, репетировалась эта улыбка. Но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокойно озираясь...

— Валяй, Сережа, — слышен ободряющий голос Городецкого из-за плахты. — Валяй, чего стесняться. Чего, в самом деле?

Есенин приободряется. Голос начинает звучать уверенней. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенин я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако. И стихи как изменились...

... Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны... — Вряд ли раньше Есенин и слышал об этих самогудах и Ладах... Иногда, среди них выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Эти он, конечно, знал и раньше, но по «неопытности» полагал, должно быть, что вставлять их не то, что в стихи, — а и в разговор, не хорошо. Теперь, бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику: Что? Каково?..

Сергей Клычков...

Выходит, наряженный коробейником из хора, Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы. Те же Лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, «нашел себя». А то, было, совсем пропадал, — в университет готовился, — латынь зубрил...

Николай Клюев...

Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу... — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, — братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль «мужичка-простака».

Потом степенно выплывает, степенно раскланивается «честному народу», и начинает истово, на б:

Ах ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимание. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.

Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Ключеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Ключев сидел на тахте, при воротничке и галстукке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей...

— Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился. — Ну, вот, и ладно, ну, вот, и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде, как раз, не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный, то есть. Туда и нам можно...

Публика аплодирует. Публика довольна. Городецкий сияет.

Он искренно счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо, и всем так нравится и, больше всех, ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то...

Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:

— А где ваш главный распорядитель?

— Какой, Федор Кузьмич?

— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали?

Но что понимает Сологуб в «народном искусстве»?

Гумилев в советские времена часто вздыхал:

— Жаль, что Городецкого нет.

— Он, кажется, у белых?

— Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли.

— Нас же не расстреливают?

— Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен... и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками... Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто недостает, — того веселья, которое от него шло.

И прибавлял, улыбаясь:

— В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друга то, что мы такие разные.

Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшестве коммунистки Лариссы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то, на фронте, вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого.

... На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин, и не вилы, а молот перекрещивался с серпом. И уж не косоворотка, а «революционный» френч был на Городецком.

Рейснер говорила вступительное слово. — Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы... грязными чернилами «Речи»?

Он заблуждался, — теперь он наш. Забудем прошлое...

После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми, серыми глазами, — читал стихи о третьем интернационале.

Гумилев сказал, пожимая плечами:

— В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь, не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки...

— Только, — прибавил он, — теперь я вижу, — Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, незабавными... отечающими за себя людьми.

**
*

Перед отъездом за границу, осенью 1922 года, я был в Москве. В табачной лавке кто-то хлопнул меня по плечу, — Городецкий.

Такой же, как был. Так же мило смотрит, так же улыбается.

— А я, — улыбка расплывается и становится ребяческой, — а я, кто б мог думать, на старости лет, — курителем стал... Скажите, что «Баядерка», хорошие папиросы?..

Собирая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся. Теперь его серые глаза смотрели грустно и «душевно»:

— А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...

Я промолчал.

VIII

В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в «Бродячей Собаке», делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор «Собаки» — Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет:

— Мушка, Мушка, — зачем ты съела своих детей!..

Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным. Но какое уж там оживление...

Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него — кажется — рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые.

— Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе.

— Давайте, — говорю я.

— Пьяны?

— Ничуть.

— А я вот пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?

— Поезда. В Гатчину.

— Поезда... В Гатчину... — повторяет мечтательно человек. — Гатчино... Поезд подходит... Снег. Белый. Нет. — Синий. Все в снегу. Встает солнце. Блеск — больно смотреть... Какие-нибудь молочницы плетутся... Пар. Деревья в инее...

Он зеваает. — Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите пожалуйста, вы живете в Гатчино?

Я сказал, что ничуть не пьян. Но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник. И какое ему дело, где я живу? Но, так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю — «живу потому, что нравится», или «там суше воздух», — я говорю ему правду. Я переехал в Гатчино потому, что влюблен, и та, в которую я влюблен, живет там. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает — и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил — о снеге и встающем солнце. Ну да, — я немножко пьян. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только, что он курит трубку, — выбалтываю все, вплоть до того, что «она мне вчера сказала», вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных:

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога,
Совсем как встарь...

Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой:

— Самое лучшее кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром — все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы одно, а ваш живот другое. Он не желает умирать. Он сопротивляется. Он хочет глотать не стрихнин, а кофе с сливками... Но стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал, весело.

— Вешаться тоже весело? — поддерживаю я разговор.

— Вешаться нельзя весело, — отвечает он серьезно, — вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных подтяжках, как проворовавшийся подмастерье... Но, представьте, — вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен. Крюк прочно вбит. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит — довольно — к делу. Вы не спорите — бесполезно. Вы надеваете петлю... — Как хороша жизнь!.. Я не хочу!.. — Это ваш живот, легкие, мускулы сопротивляются... Но мозг, палач, беспощаден. — Поговори еще у меня! Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте, господин Лозина-Лозинский... Прощайте, неудачный поэт Любяр!..

Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно, покончил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух.

— Предрассудки, — зевает мой собеседник. — Почему можно говорить непочтительно о Петре Пет-

ровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер. Чепуха. И потом...

Он не договаривает, что потом. — Ну, мне пора, да и вам, господин влюбленный. Садитесь на извозчика, потом в поезд — солнце, снег... Она сладко спит...

Не буди ее в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей...

Впрочем, это к вашему случаю не относится. Анненский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат...

— Что же они значат? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У поезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них.

— Ну, до свидания.

— Постой, — осаживает он тронувшегося было извозчика. — Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь? Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад... А насчет поцелуев Анненский, поверьте, знал и всегда помнил, — оскаленные зубки, вытекшие глазки, расползающиеся щечки... Трогай!..

Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку: А. Любяр... Лозино-Лозинский... такая-то улица...

**
*

Месяца через два я получил повестку общества «Медный Всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился.

Вечер был нелепый. В огромном модернизованном кабинете профессора С. собрались человек тридцать. Был чей-то скучный доклад. Потом М. Лозинский читал стихи Любяра, читал он, как всегда пре-

красно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие «брату покойного и великолепному тещу его произведений», который, на самом деле, был лишь однофамильцем, никогда не выдавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление... выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузмину:

и юноши нагие,
Стыдливовсть позабыв, скрываются в альков...

кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак. Возцарилась еще большая неловкость.

Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая разве-селить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты:

Как в Тифлисе у меня,
Был один товарищ,
Очень славный человек,
Только очень глуп.

Ларисса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала, слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостями.

Все разбирали шапки, торопясь поскорей убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась и руки дрожали.

Вечер был безобразный, что и говорить. Но шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.

IX

Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной «русской душе». Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через десять лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква, с центральной улицей — Кузневский мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.



Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу — «Весы» закрылись.

«Торжествующая реакция» основала петербургский «Аполлон», и Георгий Чулков протанцовал в нем каннибальский танец над трупом врага («О Весах»). Безработные московские «звезды» из второстепенных, волей неволей, стали наведываться в Петербург. Кто

просто искал заработка, кто собирался «взрывать врага изнутри», делать заговоры и основывать новые школы.

Однажды я попал на такое заговорщицкое собрание. К., молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет восемнадцать, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в «Бродячей Собаке» какой-то господин буржуазного вида представился мне, как мой горячий поклонник, но, когда на его замечание «вы такой молодой и уже такой знаменитый», я, с притворной скромностью, возразил: — «Ну, какой же я знаменитый», — он с пафосом воскликнул: «Помилуйте, кто же не знает Вячеслава Иванова»!..

Итак, — я был польщен и ответил К., что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К. радостно закивал. «Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером — я его предупрежу».

Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось — «меблированные комнаты» — не то «Тулон», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. «Пожалуйте за мной, — как раз им самоварчик подаю».

Толкнув коленом дверь, он, без стука, вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые — не знаменательно ли! — вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг:

Если б кончить с жизнью тяжкой,
У родного самовара,

За фарфоровую чашкой,
Тихой смертью от угара.

**
*

Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды»...

... В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов — все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:

Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы,
Но за честь страны родной.

На нем был расстегнутый... дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт...

Я стоял в недоумении — туда ли я попал. И даже если туда, все-таки, не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему

на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.

— Иванов! — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на о. — Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру — съели, не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчас жженку будем варить!..

Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:

Эх, ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх, ты, жженка,
Гусарская женка!..

— Подтягивай, ребята! — вдруг закричал он, уже совершенно петухом. — Пей, дворянство российское! Ура! С нами Бог!..

Я огляделся. — «Дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго был трезвым и я. — «Иванов не пьет. Кубок Большого Орла ему!» — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне премилой и начальственно-приятельский тон хозяина — вполне естественным.

... Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон, помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой, желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шопот:

— Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой (ударение на ы) мироздания..

Та же комната. Тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу-гусара.

На стенах, на столе, у кровати — всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.

— Сей муж, — поясняет Садовский, — был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, — меняет он выпрешенный тон на старушечий говор, — сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул — хамов освободил. Хам его и укокошил...

Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты — портрета Александра II нет.

— В доме дворянина Садовского ему не место.

— Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же, вы всегда возите с собой эти портреты?

— Вожу-с.

— Куда бы ни ехали?

— Хоть в Сибирь. Всех — это когда еду надолго, ну, месяца на два. Ну, а на неделю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, Матушку Екатерину, Петра. Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была так себе, — зато уж физикой хороша. Купчиха! Люблю!..

Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.

Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «...Священная миссия высшего сословия...» Он обры-

вает фразу, не окончив. — Впрочем, ну все это к чорту. Давайте говорить о стихах!..

— Давайте.



Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком.

Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи — статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход», право, стоят многих «почтенных» критических трудов.

«Цепная собака “Весов”» звали Садовского литературные враги — и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита.

Но, за ругательствами — был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I, были страницы вполне замечательные.

Кстати, карьера Садовского пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи — еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь — случайная и непрочная, — с московскими «декадентами» оборвалась, попытался «поплыть против течения», подавая «свободный глас» из своего «хутора Борисовка, Садовской тож». И его съели без остатка.

Выход «Озимии» и «Ледохода» был встречен общим улюлюканием. На свою беду, Садовский остроумно обмолвился — о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым-Вильгельмом, Гумилевым-Кронпринцем и их «лейтенантами». «Гумилев льет свою кровь на фронте и мы не позволим»... бил себя в грудь в «пись-

мах в редакции» Ауслендер. «Мы не позволим», бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленным» Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе:

... «Собрание поэм Лермонтова — в сущности груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть»...

Среди окружавших Садовского забавной фигурой был тоже «бывший москвич» — поэт Тиняков-Одинокий. При Садовском он был не то в камердинах, не то в адъютантах.

«Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами». — Тиняков приносил папиросы. — «Александр Иванович — пива!» — «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» — Тиняков без запинки отвечал.

Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, — он становился предприимчивым.

«Бродячая Собака». За одним столиком сидят господин и дама — случайные посетители. «Фармацевты», на жаргоне «Собаки». Заплатили по три рубля за вход и смотрят во все глаза на «богему».

Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается. Уставляется мутным взглядом. Садится за их стол, не спрашивая. Берет стакан дамы, наливает вина, пьет.

«Фармацевты» удивлены, но не протестуют. «Богемные нравы... Даже интересно...»

Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?»

«.. Богемные нравы... Поэт... Как интересно... Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады»...

Икая, Тиняков читает:

Любо мне, плевку плевочку,
По канавке проплывать,
Скользким боком прижиматься...

— Ну, что... Нравится? — Как же, очень! — А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите...

Господин мнется. — Ну... эти стихи... вы говорите... что вы плевок... и...

Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная на смерть. Тиняков диким голосом кричит:

— А!.. Я плевок!.. я плевок!.. а ты...

Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает.

— А, вот как, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал! Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК...

**
*

В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в «Праге». Садовский меня «приветствовал», как

он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. «Холоп! — он бросил пятаки на стол, — тебе на водку». — «Покорнейше благодарим, Борис Александрович», — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное «на чай». Я был изумлен. «Балованный народ, — проворчал Садовской. — При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка»...

Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой шарф, третий дворянскую фуражку.

Через несколько дней я зашел в «Прагу» один. Подавал мне тот же лакей. «Осмелюсь спросить, не больны ли Борис Александрович — что-то их давно не видать». — «Нет, он здоров». — «Ну, слава Богу — такой хороший барин». — «Ну, кажется, на чай он вас не балует?» — Лакей ухмыльнулся. — «Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят... Не жалуемся — господин хороший...»

Х

Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было, — единственный чемодан он потерял в дороге.

Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд...

Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежьем. Клеенчатый городской под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о «правожителстве».

Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть...

**

...В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!

Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол...

Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он — неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот, наладится кожевенное дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: вычитывает сроки пришествия Мессии...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь — убьет...

Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло. «Что мы будем делать?» — Вексель предъявлен к протесту...

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шопот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные древне-еврейские слова.

Ничего, — как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла...

Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой.

...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от томительного чаепития, читает у себя в комнате «Критику чистого разума». Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к чорту Куно Фишера.

«Головой» — трудно еще уследить за Кантом, но

уже все существо впитывает, как воздух, его «чудный холод». В голове шумок тоже «чудный»: самое сладкое читать так — не умом, предчувствием...

Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве...

— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.

— Ах, сейчас, мама.

... В голове туман. Кант... Музыка... Жизнь... Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди —
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

**

Мандельштам — самое смешливое существо на свете.

Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:

— Ха-ха-ха-ха...

Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..

О, нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять дей-

ствительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину...

— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так в с е смешно.

Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Я навещал его несколько раз в этом изгнании. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.

«Славные старики, милые старики»...

Мы проходили мимо дома этих «славных стариков». Я заметил на окнах их квартиры белые билеты о сдаче.

— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?

— Живут?.. Ха... ха... ха... Нет не здесь... Ха... ха... ха... Да, переехали...

Я удивился.

— Ну, переехали, — что ж тут смешного?

Он совсем залился краской.

— Что смешного? Ха... ха... А ты спроси, к у д а они переехали!..

Задыхаясь от хохота, он пояснил:

— В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!

И, оправдываясь от своей неуместной веселости,—

— Стыдно смеяться... Они были такие славные... Но так смешно — оба от холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха... ха... ха... Пе... переехали...

Смешлив — и обидчив.

Поговорив с Мандельштамом час, — нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.

Это, впрочем, «общепозэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться и над ними, и над собой.

Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются...

Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь «байронизм»...

Да, это «общепозэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным... Барахтайся, как можешь.

Он и барахтался:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве,
И о верности жалеть!

**

Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно борюча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Берг-

соном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке «Аполлона».

Дано мне тело. Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

— Почему это не я написал!

Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов. Если шевельнулось — «зачем не я» — значит, стихи «настоящие».

Стихи были удивительные. Именно, удивительные. Они, прежде всего, у д и в л я л и.

Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел, как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренно считал п о э з и е й. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в «роковое раздумье». Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило...

Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько... оловянным.

... На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвестным именем «О.

Мандельштам», переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного» соседства — очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, — типографская краска и «верже» высшего качества.

Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:

— Мандельштам. Георгий Иванов.

Так вот он какой — Мандельштам!

На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.

Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» ррр... как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменной...

Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, — уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил, или не так подал руку, и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал...

А через четверть часа он за чаем смеялся до

слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.

Когда я впервые услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.

К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно», — один пришептывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И, все-таки, чтение Мандельштама поразило меня.

Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако, не казалось.

Напротив, — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах) — я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.



«Над желтизной правительственных зданий» светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы

завтракают у «Медведя», — но что же делать в этом распорядке царского Петербурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.

Летит в туман моторов вереница,
 Самолюбивый скромный пешеход,
 Чудак Евгений — бедности стыдится,
 Бензин вдыхает и судьбу клянет...

Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности! Тем более, что —

... И в мокром асфальте, поэт
 Захочет — так счастье находит.

Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем «не житье») Мандельштам зажил самостоятельно.

Мандельштам и самостоятельная жизнь!

Жил все-таки. Ценою долгих переговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестиранного, — из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупно-клетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге... Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотво-

рения в пять строф — Мандельштаму требовалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.

Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика. — Пошел...

Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то, где-то заплатит. А уж наверно у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока...

... Замороженный Ванька плетется в «неизвестном направлении». Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банке. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию... Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. — И все это так... кажущееся...

Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные, — выдуманные часто больше настоящих... И все то же, единственное жалкое утешение:

... И в мокром асфальте, поэт
Захочет — так счастье находит.

... Зачем пишут юмористику, — не понимаю. Ведь и так все смешно...

Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно).

И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) «вся его судьба». Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуска и разрешения. Но в холопотях он забыл о «пустяшном» — деньгах на поездку.

Ему надо было — «непрерменно, или умереть», — быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где «высоко ценили» его «прекрасное дарование», но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:

— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется...

В Варшаву он попал все-таки, — его взял в свой санитарный поезд покойный Н. Н. Врангель. В Варшаве с его «судьбой» произошла какая-то катастрофа, — Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале — он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в «Бродячей Собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только-что им сочиненное:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...



Когда пришел «октябрь», и «неудачникам» всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался «на той стороне» — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не поступил (по робости, должно быть, придут белые — повесят), товарищем народного комис-

сара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, какие-то руки, которые не следовало пожимать — пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной — (притом, голодной, беспомощной, одинокой), «птицей Божьей» был Мандельштам. Да и не одному ему из «литераторов российских» и отнюдь при этом, не «птицам», вроде Мандельштама, увы, придется элегически вдохнуть:

Какие грязные не пожимал я руки,
Не соглашался с чем...

Вспомнив 1918-1920 годы, Смольный, Асторию, «Белый коридор» Кремля...

... 1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот, в каком-то реквизированном московском особняке идет «коалиционная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить не трудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. «За милых женщин, прелестных женщин»... «Пупсик»... «Интернационал». Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, «Пупсика», «Интернационала», водки и икры — Мандельштам. «Божья птица», пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновочке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, «ветчинки»...

Советская попойка, конечно, тоже смешна, и как всякое сборище пьяных людей, и «индивидуально»; и советскими манерами «прелестных женщин», и этим «мощным интернационалом», и мало ли чем. «Коа-

лиция» пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». «Пупсик» гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И... много пить не следует, но рюмку, другую...

Но вдруг, улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что, с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти нехватает храбрости, — зубы эти заняли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского, или надушенные, отменикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно, Мандельштам старается держаться от него подале, глазами боится встретиться. И вот, теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров...

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера... контр-революционеры....

Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить «ассигновочку».

Слышит и видит:

... Сидоров? А, помню, в расх...

... Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. «Золотое сердце» доверяет своим сотрудникам «всецело». Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно, поднимается карандаш пьяного чекиста.

... Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб... всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению, он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. — «О чем же ты думал?» — спросил я его. — «Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал»...

Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и по-

плелся в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам «чистился» в каменевской ванне, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и он молчал.

И о чем говорить, мой друг?..

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. — В телефон: — немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегия ВЧК для рассмотрения его дела. — И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ... — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь, — «пока вся эта история не уляжется»...

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился «строжайший революционный суд», а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу».

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.

Через несколько месяцев Блюмкин провинился «посерьезнее», чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности «выждал события»: мало ли как еще обернется. Но все шло отлично, — левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было, той «энергии ужаса», которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку из Грузии в административном порядке.

Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть «что и как» в кафэ поэтов, был... Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафэ — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, повидимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал...

XI

Две узкие комнаты с окошками у потолка, точно в подвале. Но это не подвал, напротив, — шестой этаж. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стул — внизу виден засыпанный снегом Таврический сад.

Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Ботичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Раблэ, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца.

Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.

Первая — приемная, вторая — спальня. Кузмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки — такой, за какими купцы сводят счета. Работает — стоя. Сидя — засыпаешь, уверяет он. Пишет Кузмин, по большей части, прямо набело. Испшет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок.

Пока Кузмин работает, — в «приемной» начинают собираться посетители. Какие-то лощенные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлака правоведов, красные — лицейстов.

Это эстеты — поклонники «петербургского Уайльда», — как все они Кузмина называют.

Пока мэтр работает, эстеты болтают вполголоса.

— Я сейчас перечитываю Леконт де Лилля, — говорит один. — Как это прекрасно.

Другой, менее литературный, рассеянно морщится:

— *Quel est ce comte, André?*

— Вилье де Лиль Адан — мой милый, — вставляет насмешливо третий.

Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами:

— *Connais pas...*

... такие гении, как Леонардо да Винчи...

... Леонардо, Леонардо, — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот Клевер...

... А Петька-то опять у «Медведя» устроил скандал — слышали? — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый. — Нализался, велел принести миску, пустил туда омара... — Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно — кричит во весь голос и еще какую-то чушь. Что скажет мэтр?..

Но мэтр как раз заинтересован.

— Что вы говорите, Жоржик! Опять нализался! Ха, ха! Омара в миску? Ха, ха! Ну, и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет? Лежит дома? Надо навестить бедняжку...

Кузмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню.

...Роджерс вчера была очаровательна...

Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости.

В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью — «Таврический мудрец» ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не «среда», когда в этой гостиной собирается весь литературный Петербург; — несколько избранных, «посвященных» собрались потолковать о «тайнах искусства», недоступных профанам.

Кузмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди седобородых профессоров?

Нет — Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, «не вернулся ли Михаил Алексеевич». Наконец, Кузмин входит. Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид. Что ему тут делать?

— Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг, — говорит Вячеслав Иванов. — Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию...

**

Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина бритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал — факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.

Итак — Кузмин только что сбрил бороду. Еще точнее: перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки. Перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным «Астрисом». Короче: апостол петербургских эстетов, идеал дэнди с солнечной стороны Невского стал равнодушен и к дэндизму и к эстетизму.

Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах «Астриса» из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг «шарм», которого им прежде не хватало — законный, скромный, побочный шарм вещей «при человеке».

Перестали быть (или казаться) целью — приобрели прелесть.

Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузмин до тех пор, — перестало его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузмин, бросив изысканные темы — перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость — остались. И, перестав быть целью, — приобрели прелесть.

... В 1909-1910 г.г. Кузмин дописывал роман «Прекрасный Иосиф», последние стихи из «Осенних Озер» — лучшее из им написанного и в прозе и в стихах. Вещи Кузмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт-дэнди, став просто поэтом, выходит на настоящую, широкую дорогу.

Казалось...

На «настоящую» дорогу Кузмин не вышел. В 1909-1910 году он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за «Осенними Озерами» книга стихов «Глиняные Голубки» — падение, не резкое, но явное. Следующий роман — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. «Прекрасная ясность» стала походять на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего «эстетического» содержания, писания Кузмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней безо всякого содержания вообще. Зинаида Пет-

ровна дрянь и злюка, она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит. А подпоручик Ванечка похож на ангела... — вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской «прекрасная ясность» придает все более мертво-фотографический оттенок пустым «разговорчикам» неинтересных персонажей...

Как же это случилось?

**
*

Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю, — факты первостепенные в его биографии. Такова уже его «женственная» природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от «воздуха», которым они дышат, — как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузмин.

Вначале Кузмин попал в блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузминым — написано под «опекой» этого, может быть, единственного за всю историю русской литературы — знатока, ценителя, друга поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный — чужие стихи, чужой дар В. Иванов понимал и умел направлять, как никто.

Жизнь у В. Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Он стал писать уверенней, «звук» его поэзии становился все чище.

Но произошло охлаждение, и Кузмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог — немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузмин один не мог — ему нужен был «воздух», чтобы

дышать. Но вот, воздух найден. И Кузмин дышит им так же свободно, как воздухом Ивановской «Башни».

Теперь он под опекой писательницы Н., автора «Гнева Диониса», — живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за «мэтром» в гостеприимные салоны этой салонной писательницы — довольны. Здесь гораздо веселей, чем на Таврической. Доволен и Кузмин — нет над ним «никакого начальства», никто его не «направляет», никто не «рассчитывает на его эрудицию», когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением и на каждое его слово ахают от восторга...

... Михаил Алексеевич — вы русский Бальзак!

... Кузмин это маркиз, пришедший к нам из дали веков...

... Он выстрадал свою философию...

Автор «Гнева Диониса», знаменитая писательница внушает своему новому «союзнику»:

— Вы тонкий. Вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали... Будьте самим собой.

Забыть так не трудно. Стать «самим собой» так приятно. Писать не ломая талант — так легко. Теперь не то, что переделок — и помарок не бывает.

И, главное, — никаких мудрствований, никаких подводных течений: Зинаида Петровна дрянь и злюка и вечно пудрит нос. А подпоручик Ванечка — ангел...

Дважды два — четыре,
 Два да три — пять,
 Вот и все, что мы можем,
 Что мы можем знать...

... Charmant, charmant...

... Он выстрадал свою философию...

**
*

— Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу? — спрашиваю я у Кузмина.

Кузмин смотрит удивленно.

— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.

Он сам «включает» все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акrostих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту (правда, они посвящены Н., что несколько смягчает их важный тон), а на другой:

Как радостна весна в апреле,
Как нам пленительна она;
В начале будущей недели,
Пойдем сниматься у Боасона...

На самом деле собирался итти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а там и весь «стишок». Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот.

... Зачем же не включать? Если написали, так и включайте...

Сочиняет стихи на ходу. Шел к вам — вот, сочинил по дороге. Пишет музыку — в комнате, где играют дети сестры. Басы на рояле ему не нужны: дети колотят по басам из всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузмин подбирает новую песенку, стряпает свою «музычку с ядом».

Прозу пишет прямо набело. — Зачем же переписывать, у меня почерк хороший?..

Сестры, тяжесть и нежность — одинаковы
ваши приметы...

Сестры «прекрасная ясность» и «опасная легкость» — ваши приметы тоже одинаковы, для невнимательных, для нежелающих быть внимательными глаз...

Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!

... Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.

... Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером...

... Он старообрядец с Волги...

... Он еврей...

... Он служил молодцом в мучном лабазе...

... Он воспитывался в Италии у иезуитов...

... У Кузмина удивительные глаза...

... Кузмин урод...

В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля правды. Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.

И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные «византийские» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься к годам тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?

Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на

коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счета. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке...

**

Кузмин готовился быть композитором — учился у Римского-Корсакова. Консерватории не кончил, но музыки не бросил. Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой.

Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта, Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг, — а там уж распознали его настоящее призвание.

Стихам Кузмина «учил» Брюсов.

— Вот вы все ищите слов для музыки, — уговаривал его Брюсов, — и не находите подходящих. А другие находят без труда — берут первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.

— Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать.

И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы». Ученик оказался способным.

Кстати — о кузминской музыке. Сам он определял ее так: — У меня не музыка, а музыка, но в ней есть яд.

Точное определение.

Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки, учтивые улыбки. — Михаил Алексеевич, сыграйте. — Куз-

мин по-женски жеманится. — Право не знаю... — Пожалуйста, пожалуйста. — Жеманьясь, Кузмин идет к роялю. Тоже, как-то по-женски, трогает клавиши. С улыбкой оборачивается: — Но что же мне играть? Я не помню, я забыл ноты...

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Кузмин, картавя и пришептывая, поет, по-старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые, глуповатые слова, пустая, глуповатая музыка под XVIII век. Не музыка — музичка. Закройте глаза: разве это не бабушка-помещица, окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы?

Когда бы в юности мы знали
Как быстро дни любви бегут,
Мы б ничего не пропускали,
Ловя блаженство там и тут...

Не музыка — музичка. Но в ней — яд.

Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Кузмин. Каратыгин. Метнер. Браудо. Они внимательно слушают это странное «чудо». Подражательно? Еще бы. Банально? — Банально. Легковесно? — Легковесно. Но...

— Михаил Алексеевич, еще, еще спойте...

Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелодией — глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются незатейливые рифмы:

Мне матушка сказала:
Беги любви злой,
Ее опасно жало,
Уколет не иглой.

Я матушке послушна,
Приму ее совет,
Но можно ль равнодушной
Прожить в шестнадцать лет?

**
*

И литературная судьба у Кузмина странная.

После 1905 года вкусы русской «передовой» публики начали меняться. Всевозможные «дерзания» ее утомили. После громов первых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного человеческого голоса.

Кузмин появился как нельзя во-время.

Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда, как откровение:

... Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вот, вот — именно. Все устали от слога высокого, все хотели «прекрасной ясности», которую провозгласил Кузмин.

И редко чье имя произносилось с бóльшим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву, — В. Ивановым, Иннокентием Анненским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.

Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите Сети, Осенние Озера, первые три тома рассказов, Куранты любви. При всех «частностях», — это прекрасное достояние русской литературы. И это, я думаю, в ней останется.

Но:

...Зачем же переписывать — у меня почерк хороший...

... Если написали — так и включайте...

... Он выстрадал свою философию...

... В начале будущей недели пойдем сниматься к Боасона...

Прекрасная ясность — опасная легкость.

У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. «Куда ветер подует».

Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта «смена ветров» уже давно стала безразличной.

ХII

Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:

— Конечно, вы господин солидный... Слава Богу, я господ знаю... Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так. Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете?.. Так, так. Понятно, нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю; знаю, слава Богу, господ. Мне такой жилец, как вы — самый подходящий. Только... Желаете, я вам адресок дам, недалеко, тут же на Тучковом — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдут...

— Да зачем я пойду глядеть? Мне у вас нравится. Вдова жеманно улыбалась.

— И вы мне нравитесь, господин. Слава Богу... Вижу с кем имею дело. Собственный домик... Жилец тихий, образованный...

— Ну, так что ж? Давайте по рукам. Завтра же и перееду.

Вдова помолчала минуту.

— Тут же, на Тучковом. За углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам пондравится... А я, извиняюсь, — опасаюсь...

— Чего же вы опасаетесь?

— Да ведь вы сами сказали, что поёты. А в поёты, известно, публика идет, извиняюсь, не того... Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, к генеральше...

Как это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. «Шла в поэты» публика, действительно, «не того», — странная, шалая, беспокойная...

**
*

Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.

— Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно.

— Гы-ы, — улыбался Нарбут во весь рот. — Гы-ы, действительно, дороговато. Эйн, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вот и три рубля. И бреют тоже — ейн, цвей, дрей — чересчур быстро. Рраз — одна щека, рраз — другая. Страшно — как бы носа не отхватили.

— Так зачем же ходите?

Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.

— Гы-ы! Они там все по-французски говорят.

— Ну?

— Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно...

Этот Нарбут был странный человек.

В 1910 году вышла книжка: «Вл. Нарбут. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушные: гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью — «Божьего дара».

Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально-эстетично (последнее извинялось тем, что большинство стихов было подписано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии), многое было просто зелено — но, все-таки, книжка обращала на себя внимание, и в «Русской Мысли» и «Аполлоне» Брюсов и Гумилев очень сочувственно о ней отозвались. Заинтересовались стихами, заинтересова-

лись и автором — где он, каков? Оказалось — Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот pokrutil головой.

— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надейтесь — толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган...

— Где же он?

— У себя в Саратовской, именице там у него. Пьянствует, должно быть, — осенью у него всегда кутеж: урожай продал...

— А в Петербург не соберется?

— Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по «Аполлонам» расхвалили. Успеете познакомиться... И пожалуй о знакомстве успеете...

Разговор шел в ноябре. А в январе секретарь «Аполлона» был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника «Аполлона», «дворянина Владимира Нарбута». Нарбут собрался, наконец, в Петербург, и в первый же вечер был задержан «за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей». Ночью, по дороге из «Давыдки» в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому...



Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти и Петербург и литературу.

Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах — он только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то ли будет. Вскоре, то

там, то здесь, в литературной хронике промелькнула новость: Вл. Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги — обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей России, около тысячи человек. Брюсова в преуменьшении из скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского интереса к нему. Чего же было ждать начинающему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и «Русской Мысли» до славы, ну, по крайней мере, как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут, при всей своей самонадеянности, это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.

**

Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась «в виду светского содержания». Содержание, действительно, было «светское» — половина слов, составляющих стихи, была неприличной.

Синодальная типография потребовалась Нарбуту — потому что он желал набрать книгу церковно-славянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным. В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего — пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге — бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковно-славянской орфографии... В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами

и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице, и лихим росчерком...

По случаю этого события в «Вене» было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом «литературном ресторане» пиршество. Борис Садовский в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего «бульдога» в зеркало, отстреливаясь от «тени Фадея Булгарина», метр-д-отеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из жолудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления. Городецкий (это он принес венок из жолудей) ухаживал за «юбиляром» деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал:

— Ты... ты... я верю... вижу... будешь вторым... Кольцовым.

Но Нарбут недовольно мотнул головой.

— Ккольцовым?.. Нннехочу...

— Как? — ужаснулся Городецкий. — Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?

Нарбут наморщил свой изрытый, безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули.

— Не... Хабриэлем Даннунцио...

**
*

Славы «Хабриэля» Даннунцио — «Аллилуйя» Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда.

Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача, или на «Аллилуйя» ушел весь запас его изобретательности.

... Нарбут не пьет... Нарбут сидит часами в Публичной Библиотеке... Нарбут ходит в Университет... Для знавших автора «Аллилуйя» — это казалось не-

вероятным. Но это была правда. Нарбут — «остепенился».

В этот «тихий» период я встречал его довольно часто, то там, то здесь. Два-три разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле и безобразнике страсть, наивная «страсть к прекрасному»...

Постукивая дрянной папироской по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавок, украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов), морща рябой лоб и заикаясь, он говорил:

— Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина — снял урожай, ободрал мужиков, и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник. Тит Титыч, почти что орангутанг. А я?..

Молчание. Пристальный взгляд острых, маленьких, холодных глаз. Обычная плутовская «хохлацкая» усмешка сползает с лица. Вздох.

— А я?.. Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот... — он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку. — Вот... Мадонна... Сикстинская... Был за границей. Берлин там. «Цоо», тигра икрой кормил, — ничего, жрет, еще просит, — видно, вкусней человечины, Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как и оказались в этой, как ее... Пинакотеке... Нет, это в Мюнхене — Пинакотека. Ну, все равно, идем — глядим, ну, известно, — музей, картины, голые бабы, дичь... Идем, галдим — известно, из кабака по дороге в кабак — зашли случайно. И вдруг, у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак, здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако, прикусили языки — может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк

тоже осматривает... Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе зальца небольшая. И на стене эта... Сикстинская Мадонна.

— Полчаса, должно быть, я стоял перед нею, сволоочь свою отослал — что она понимает — сам стою, слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял — сам себя заставил уйти — довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу дал двадцать пять марок — не тебе, говорю, даю, в ее честь даю... Понял, кажется...

Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются. Две слезы появляются на красных веках без ресниц...

... — Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядел, — а на всю жизнь хватит. На сто жизней! Запил я после этого отчаянно — дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном. Чуть под суд не попали — какого-то штатсрата смазали по морде, с пылу, с жару. Ничего, откупились... Да, это искусство! Или еще Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

— Об этих стихах даже думать спокойно не могу, сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был — ездил специально посмотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная...

Вот! Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую? А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому, что знаю, нечего мне его бояться — и мне, и ему, и третьему, одна цена. Если орангутанги — так все орангутанги. А к Пушкину — в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь:

... Шумит А р а г в а предо мною...

Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!..

И слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. Два-три графинчика водки, только что выпитых — не в счет.

**
*

В период остепенения Нарбут решил издавать журнал.

Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесечника — «Новый журнал для Всех» — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из издателей этого, ставшего убыточным, предприятия — предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал. Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.

Вероятно, подписчики «Нового журнала для Всех» были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенцией». Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Руквишника, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме, с собственным пространственным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочине-

ния украинского философа Сквороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала «смелый жест». Она объявила, что «Журнал для Всех» вовсе не означает «для всех тупиц и пошляков». Последним, т. е. требующим Чирикова вместо Сквороды и Бодлера — подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут «макулатурой по выбору» — книжками «Вестника Европы», сочинениями «Надсона или Иванова-Разумника».

Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т. п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Скворода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И получив вместо ожидавшихся лавров — одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать, бросить. Закрывать? Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным «пошлякам и тупицам». Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?

Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут «загулял во-всю»), подвернулся и сам покупатель — благообразный, полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский рев и хлопанье пробок — ударили по рукам, выпив заодно и на ты. А утром невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.

Гром грянул недели через две — когда вдруг все как-то сразу узнали, что «декадент Нарбут» продал как никак «идейный и демократический» журнал Гарязину — члену союза русского народа и другу Дубровина...



После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.

Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибутти. Гранд-Отель» — стояло:

«Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почему я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощица. Какой меня чорт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.

... Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер»...

Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, — он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, — но из рассказов его выходило, что «страна

титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.

— А вот, приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

... — Как же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо, — что такое «текели»?

— Третью рома, третью коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.

— А... — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

— Жареный поросенок.

— Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?

— Сад.

— Верно. А за садом?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

— При дамах неудобно...

— Не врет, — хлопнул его по плечу Гумилев. — Был в Джибутти. Удостоверяю.

Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению, и лихорадка была вовсе не экзотическая. — В Пинске, должно быть, схватили? — спросил его доктор.

Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем

мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом пошел слух, что Нарбут убит. Но нет, — в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов «Госиздата»: «Вл. Нарбут. Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы «капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок...

ХІІІ

Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь, — где воспоминания, где сны.

Ну да, — была «последняя зима перед войной» и война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября — тоже было. Но, если взглядеться пристальной — прошлое путается, ускользает, меняется.

... В стеклянном тумане, над широкой рекой — висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят... Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом Поле... и вот красный флаг над Зимним Дворцом. Молодой Блок читает стихи... и хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев) — зовут Ленин...

Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической точностью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен»...

Нет, куранты играют «Интернационал».



Падает снег. После вагонного тепла — сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и

за шиворот. И что за идея, ехать ночью в Царское?!.. Но делать нечего — приехали, и обратного поезда нет.

Тускло горят фонари. Ветки в инее. Звезды.

— Эй, извозчик...

Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу.

Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой — на переднем извозчике указывают дорогу — это они и выдумали ехать, на ночь глядя, в Царское. Им-то что — царскоселы. «Но нам-то, нам-то всем». В самом деле, глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь, и там, головы кружились.

— Поедем в Царское... Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.

— Едем, едем...

В самом деле, как раньше не догадались. Удачной нельзя и придумать, не правда ли? Ночью, по снегу, в какой-то закоулок Царскосельского парка — на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до семи часов утра — первого поезда в Петербург!..

Но «кофе» действовало, головы кружились.

— Едем, едем...

Вот — приехали. В вагонном тепле — укачало. На талом холодке развезло. Право, как глупо. Зачем приехали, куда приехали?!..

Гумилев с Ахматовой (им что — царскоселы) впереди, — указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За ними на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать: у них нет денег на расплату, отстанут — погибнут.

У каких-то чугунных ворот — останавливаемся. Бредем куда-то, по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке — мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод чувствительней. О, Господи...

Гумилев оборачивается.

— Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья.

Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи...

... Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье, глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамье. На минуту становится жутко, — а ну, как...

Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается...

— Василий Алексеевич, — вы?.. Я не узнал, было. Господа, позвольте вас познакомиться. Это — цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. — Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендует:

— Комаровский.

У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече.

— Приехали на скамейку посмотреть. Да, да — та самая. Я здесь часто сижу... когда здоров. Здесь хорошее место, тихое глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился — только на другой день нашли. Тихое место...

— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность, должно быть.

— Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному? — вмешиваюсь я в разговор.

Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное», — такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и в улыбке.

— Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что болезнь вернется.

Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет «моя болезнь», «когда я здоров», «тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого?

... — Болезнь вернется? — повторяю я машинально конец его фразы.

— Да, — говорит он, — болезнь. Сумасшествие. Вот, Николай Степанович знает. Сейчас у меня «просветление», вот, я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу.

И, не меняя голоса, продолжает:

— Если вы, господа, не торопитесь, — вот мой дом, выпьем чаю, — читаем стихи.

... В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стелянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит. И еще — этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой и в соседних комнатах зажжены, точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея.

— Зажгите жирандоли.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей.

И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается;

— Я не люблю темноты в доме...

Комаровский внимательно слушает наши стихи. Потом читает свои.

Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бургера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно.

... Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками — как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком, нередко, возвращается «то»... Он обречен на скорую смерть — и знает это. Перейти через улицу для него — приключение. Поездка в Петербург — подвиг.

Его единственное страстное желание — побывать в Италии — так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть. И пишет:

Иду неспешною походкою,
И камешек кладу в карман.
Там, где над новою находкою,
Счастливый плакал Винкельман.

Два-три месяца — он живет «спокойно». Мечтает об Италии. Пишет стихи. Ночью бредет на глухую «скамейку самоубийц» в засыпанном снегом парке.

... Когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что «болезнь вернется».

... Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты в доме...

Два-три месяца. Потом, однажды ночью, он просыпается, окруженный какими-то огненными львами,

кричит, отбивается от них... Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка... Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет...

Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома?..

О Риме, о славе, о Цезаре...

Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать. И ровный голос монотонно читает:

... В провалы туч, в сияющий излом,
За золотым и медленным орлом
Пылающие йдут легионы...

Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнасс» Брюсова — перед ними детский лепет. Но, как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами.

... Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем. Наконец, прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты, и еще чего-то веющего там — среди смирских ковров и севрских ваз...

Подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох, — скорее бы в кровать, после бессонной странной ночи.

Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются... Если не будет припадка... Поездка в Италию...

Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали — обморок. Нет, оказалось, не обморок, а смерть.

**
*

Из Дома Литераторов на Бассейной, домой, на Каменноостровский, путь немалый. На Троицком мосту я поставил на землю кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть.

Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, «душистый» ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход, и Кронштадт станет неприступным. И тогда...

Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пущечные выстрелы — глухие с фортов, резкие с какого-то броненосца, оставшегося «верным революции». Красное небо, тающий снег... И кругом ни души. «Хождение по улицам» — разрешено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со служб все уже разошлось, а прогуливаться вряд ли кому взбрет в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот, если погода не изменится... Начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда...

Пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хождение разрешено до шести, а мне пути минут пятнадцать, но все-таки лучше поторопиться...

По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все «из него вытека-

ющее». Может быть, так и есть. Тогда — неприятная встреча. «Хождение» до шести, и труд-книжка моя в порядке... но, все-таки...

Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие «мешки», еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный «отсутствующий» взгляд.

Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок.

Минуту мы стоим под красным небом, на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих, — это с фортов; грохочущий — с броненосца.

— Пшено получили? — спрашивает Блок. — Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром...

Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается.

— Стреляют, — говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Мертвецы палят по мертвецам. Так что, кто победит — безразлично.

— Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым.



Зимой 1913 года, что-то очень рано, по петербургским понятиям — меня разбудила прислуга. «К вам господин. Говорят, по литературному делу». Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. Михаил Александрович Ковалев? Такого знакомого у

меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели, издатель, пленившийся моими стихами в «Аполлоне» или «Гиперборее» и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит!.. Не без волнения, я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось — гость уже входил в дверь.

— Лежите, лежите, — быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. — Лежите, — я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие...

Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть на бок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. И быстро-быстро, нараспев, прошепелявил:

Сказал он, улыбнувшись кротко —
Мы рядом шли, плечо к плечу, —
Ты знаешь, у меня чахотка,
И я давно ее лечу.

И прибавил, жеманно улыбаясь:

— Я — поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи.

Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал.

Тоненькая, «щуплая» фигурка. Бледное худое «птичье» лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко шуряются. Одет старательно и небрежно: костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное «Что? Что?» — за каждым словом...

— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что? Прочел — и опять своей шепелявой скороговоркой:

— Как я нашел ваш адрес? Мне Н. сказал... Знаете... этот... он бывает (тут «птичье» личико приосаивается) в доме моего дяди Х., государственного контролера. Что? Этот Н. прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что? Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как это? Да.

Был тихий вечер, вечер бала,
 Был летний бал меж старых лип,
 Там, где река образовала
 Свой самый выпуклый изгиб.

— Вот в это «образовала» — протянул он, — я и влюбился.

И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите... Что?

Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение: стихи, только-что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что...

Ивнев удивился чуть-чуть.

— Не ваши? Гофмана? Как странно! Впрочем, это все равно — ведь, они так к вам подходят...

Я предложил ему подождать меня в соседней комнате.

— Сейчас я оденусь и будем пить кофе...

Птичье личико надменно наморщилось. — Кофе? Благодарю, я уже пил свой утренний шоколад. И вообще — который час? Ах, Господи, четверть одиннадцатого. В двенадцать я завтракаю у княгини С., надо захватить домой, переодеться. Княгиня такая прелестная женщина... Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю... Ах, ах, как поздно...

Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светложелтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходила, особенно с распоротыми по швам пальцами...

С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей Собаке».

Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним «на низком столике» остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.

Он не любит читать стихи, когда его просят: «другой раз, не помню»... Но, иногда, под утро, он сам подымается на эстраду: «Я прочту...». Стихи его путанные, захлебывающиеся, развинченные. Жалко-беспомощные, по большей части. И вдруг, иногда какой-то истерический взлет:

От крови был ал платочек.
Корабль наш мыс огибал,
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки, — и снова в свой угол, сидеть до утра, щурясь близорукими глазами на пылающие голловни...

— Послушайте, Рюрик, зачем, в самом деле, вы просиживаете здесь ночи? Ведь вам вредно...

— Вредно.

— И томительно...

— Томительно.

— Так зачем же сидите?

Он поднял глаза. В их водянистой голубизне

мелькнуло что-то тяжелое, «сумасшедшинка» какая-то...

— Зачем сижу... Видите ли... В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого... Я призрак, и кругом призраки... И мне хорошо...

И сейчас же — точно испугавшись, — расплывается жеманной улыбочкой:

— Впрочем, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить. — Воробьем прихорашивается: — Ах, как я рассеян... — воробьем приосанивается. — На вечере у моего дяди... Княгиня Друцкая... Что? Вы будете завтра на верниссаже? Что?..

Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал:

От этой трезвости, от этой мерзости,
Куда уйти?
Неужели, бритвой зарезаться!..

**
*

Начальник канцелярии по приему прошений на Высочайшее имя, хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившее к нему прошение «титularного советника Михаила Александровича Ковалева», был, должно быть, все-таки озадачен.

«Припадая к стопам», царя, «титularный советник Ковалев» в выражениях «верноподданнейших», но твердых, заявлял (это было в 1915 году): от службы в войсках он отказывается.

Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву, в ближайшее время, по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу «перед Вашим Величеством и Россией». Долг же этот он понимал так: сло-

жить оружие и принять победителя с колокольным звоном, «как радостное искупление».

Легко представить, какой «ход» был бы дан этому прощению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только «титулярный советник», но и племянник своего дядюшки.

Узнав это обстоятельство, «учили» его: вместо того, чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев (после подачи прошения, от волнения и ожидания, он заболел и слег), — заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла, вместо Сибири... на Иматру.

**
*

Две маленькие комнаты. Такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи: футляры какие-то. И, как в футляре, ничего твердого: диванчики застелены плахтами, низкие стеганные креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка, зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов, а если отвернуть кисейную занавеску, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге — отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу: после истории с прощением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно.

В этих комнатах-футлярах по пятницам вечерами собирается человек по двадцать, двадцать пять. Помещаются как-то. Пьют чай с пти-фурами от Берена, но половина гостей пьет с блюдечка: общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное.

... Розовый, светло-головой мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже «духовное лицо», лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. С ним истово, на «о», беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, «из мужичков», как он сам о себе говорит. «Мужичок» набелен, нарумянен и надушен «Роз Жакмино»...

Нарумянен и другой поэт «из мужичков» — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель «сердечного магнита» — наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывающая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге голубиной, о магните сердечном, и о новом Иерусалиме, который воздвигнется «на Руси», когда кончится война и настанет «царство Христово»...

— Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится.

— Аминь, аминь...

— *Que Dieu nous bénisse.*

И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль.

Это в 1915-1916. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917 в кресле, где Клюев вещал о «Купели слезной» — Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме. Те же, или такие же лицеисты почтительно слушают, так же хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах также душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом...



В 1918 г. Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть.

И, растерянно улыбаясь:

— Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в Че-ка, — тут он задергался и в глазах мелькнула знакомая «сумасшедшинка», — хотя у нас всякая служба чистая, даже в Че-ка, да, даже в Че-ка. Но я вам не это предлагаю: нам всюду нужны люди — вот места директора императорских театров, директора публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?

Я смотрел на этого «сильного мира сего», так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, разорванную рубашку, измятый костюм и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в Че-ка чистая служба? Ну, что ж. Блаженны нищие духом...

— Не хотите? — Он дернулся, по-воробыному, приосанился. — Очень жаль. Но... может быть, вы думаете, что у нас Бог знает кто служит, сброд какой-нибудь?

— C'est plein de gens du monde!..

XIV

Перед самым большевистским переворотом мне понадобилось зачем-то повидать беллетриста Муйжеля.

Помнит ли кто-нибудь еще это имя? Имя, пожалуй, но уж писаний, наверное, никто. Муйжель был один из так называемых писателей «с убеждениями», писавших «из народной жизни» суконным языком. Писатели этого рода держались от прочей литературы, «декадентской и беспринципной», в стороне. У них были свои читатели, свои Сент-Бевы — Фриче и Бонч-Бруевичи, свои собственные «с убеждениями» поэты, вроде некоего Черемнова, отрывок из стихов которого я до сих пор твердо помню:

Пировать в горящем доме, спать у пасти крокодила,
На бушующем вулкане затевать лихую пляску
Никому на ум, конечно, никогда не приходило,
Ибо все предвидеть могут неизбежную развязку.

Далее, в стихах, столь же проникновенных, выяснилось, что царское правительство спит у крокодильей пасти и пляшет на вулкане.

Не помню уж, что мне могло понадобиться от Муйжеля, человека совсем другого литературного круга, чем тот, к которому принадлежал я. Я его едва знал, за три года войны ни разу, кажется, не встречал его долговязую, унылую фигуру. Но, вот, понадобилось что-то. Адрес, который мне сообщили, оказался адресом какого-то военного учреждения — штаба,

управления. Я спросил Муйжеля. Через минуту ко мне вышел щеголеватый прапорщик.

— Вы к командующему X. дивизией? Его нет. Он на фронте.

— Да нет же. Я к Муйжелю, писателю.

— Точно так. Это он и есть. Только он теперь на фронте. Впрочем, если что-нибудь спешное, могу передать по прямому проводу...

... «Это он и есть»... Муйжель, надежда Фриче? В крылатке, с убеждениями, с калошами, с перхотью на воротнике пиджака!..

Впервые тогда я с неотразимой ясностью почувствовал, что «дело плохо». «Дело» было, действительно, плохо: через месяц должно было произойти то радостное событие, десятилетний юбилей которого не так давно отпраздновали.

В нашей рабоче-крестьянской стране,
В нашей далекой России...

В 1917 году то, что Муйжель «генерал» — меня поразило, потрясло. Но к чему не привыкаешь? Когда, в 1919 году, я встретил на Невском двадцатидвухлетнюю красивую, надушенную и разряженную женщину и услышал от нее:

— Приходите к нам. Адмиралтейство, главный подъезд. Ведь я — очаровательная улыбка — «к о м а р с и», — я не удивился.

А «комарси» значило — командующий морскими силами.

Серые глаза блестят, подкрашенные губы улыбаются... Шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухает Герленовским «Фоль арома»...

И — «комарси»...

И я — не удивился почти. Что же такое? Была барышня Ларисса Рейснер, писавшая стихи о маркизах. За барышней ухаживали, над стихами смеялись.

И вот теперь эта барышня — «комарси», — может сейчас же распорядиться, чтобы Балтийский флот шел бомбардовать Финляндию... Что же такое, дело житейское. В 1919 году, вообще, мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь, в самом деле, колоссальному. Окроку ветчины, например.

Я поцеловал руку командующему флотом в синей шубке и обещал как-нибудь зайти.

— Непременно, непременно, приходите... Адмиралтейство, главный...

Женщина всегда женщина — Ларисса Рейснер, говоря, что она «комарси», немного прихвастнула: «комарси» был, собственно, ее муж, мичман Раскольников. Сама же Рейснер носила всего лишь звание «заместительницы комиссара по морским делам» — «замком по морде» (тоже ничего себе чин: по-буржуазному вроде товарищ министра).



Я познакомился с Лариссой Рейснер несколько раньше, чем она начала появляться в литературных салонах, а ее стихи о маркизах — в средней руки журналах. Если не ошибаюсь, познакомился я с ней весной 1913 года.

Среди множества высокопочтенных профессоров, с которыми мне приходилось в Петербурге встречаться, было несколько не таких уже почтенных, как это ученому и седовласому профессору полагается. Ничего предосудительного они не делали, люди были разные, разных наружностей, разных вкусов и разных специальностей, — но во всех было нечто их объединяющее, неумовимое и явное в то же время, какой-то флюид «непочтенности», распространявшийся от этих вдумчивых лысин, солидных очков, «благоухающих седин», казалось бы, неотличимых от прочих се-

дин и лысин, составлявших гордость петербургского ученого мира. Но вот, все же, что-то неуловимое их отличало. Это не было мое личное впечатление. Как раз об отце Лариссы Рейснер Гумилев как-то, смеясь, сказал:

— Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмывает взять его под ручку: — Профессор, на два слова, — и, с глазу на глаз, ледяным тоном: «Милостивый государь, мне все известно».

— Ну?

— Затрясется, побледнеет, начнет упрашивать.

— Да что же тебе известно?

— Ничего решительно. Но, уверен, что смутится. Обязательно какая-нибудь грязь водится у него за душой.

Теперь, кстати, то неуловимое, что чудилось когда-то не мне одному в этих людях, таких разных, и таинственно их объединяло — приобрело форму более реальную, осязаемую не только одной бездоказуемой «интуицией»: большинство профессоров и доцентов с этим мистическим «душком» составляет ныне цвет «марксистской» профессуры...



Был (кажется) 1913 год, была (наверное) весна. С островов, по Каменноостровскому, тянуло блаженной свежестью петербургского апреля. Я шел медленно: идти было очень приятно, цель же моей прогулки была очень скучная. По поручению одной редакции, где я недолго и довольно малоуспешно исполнял обязанности секретаря, я шел переговариваться с профессором Рейснером о каких-то переделках и сокращениях в какой-то его статье.

По широкой лестнице ультра-модернизированного дома я поднялся на третий этаж. Лакированная дверь, медная доска: профессор Рейснер. Но на мой зво-

нок никто не открывал. Я позвонил еще — то же самое. Может быть, звонок испорчен? Я хотел постучать и толкнул дверь. Она без шума распахнулась.

Из прихожей, прямо против меня была видна большая белая комната с роялем и цветами, — гостиная, должно быть. Окно в ней было «фонарем», большое зеркальное стекло, ничем не завешенное, на сад и розовое вечеряющее небо.

На фоне этого окна стояли девочка лет пятнадцати и мальчик — морской кадет. Они не слышали, как я вошел. Должно быть, они ничего не слышали: они целовались.

Они стояли, отодвинувшись друг от друга. Она, положив руки на погоны, он, осторожно держа ее за талию, совершенно так, как на наивных английских картинках изображается «первый поцелуй».

Первый или нет, поцелуй был очень продолжительный. Что мне было делать? Я кашлянул. Морской кадет отдернул руки и быстро отвернулся к окну. Девочка слабо ахнула, потом, мотнув белокурой головой, пошла мне навстречу. Лицо ее пылало, глаза блестели. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовал морскому кадету, с независимым видом теребившему свой рукав — так прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей.

Профессор, заодно с дочерью, должно быть, меня проклял. Я потревожил его послеобеденный отдых: его острое личико было заспано и помято. Но принял он меня с преувеличенной, прямо одуряющей, любезностью. Еще пенснэ, со сна, плохо держалось на его носу, и розовела разогретая подушкой щека, а он уже протягивал мне сигару, потчевал портвейном и говорил, говорил — сладко, вкрадчиво, «душевно». Говорил о молодежи, о святом искусстве, свободе, идеалах, светлом будущем человечества и о многих других высоких и глубоких предметах, о которых со

мной, секретарем редакции, пришедшим по делу, пожалуй, можно было бы и не говорить.

Голос у профессора Рейснера был удивительно мягкий, удивительно «подкупающий». Так же мягко, так же «душевно», помню, звучал этот голос на каком-то официальном собрании в Доме Ученых перед голодными и замороженными «дорогими коллегами» из числа тех, которые из-за отсутствия в их природе указанного выше «флюида», в число «красных звезд» не попали, скромно перебиваясь между торговлей собственными портьерами и академическим пайком. Душевно и подкупающе профессор говорил о «святой науке» и, попутно, о своих заслугах перед ней:

— Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, десять командиров красной армии, четыре (особенно бархатная модуляция) председателя Че-ка.

**

— Да, да, в ссылку, по этапу, в Сибирь, на виселицу, на костер.

Она распахивает шубу и откидывает голову. Какое прекрасное «гордое человеческое лицо»! Два года назад, там, у окна, в ее полудетском силуэте, мне почудилась Психея. Теперь эта красота отяжелела как-то. Нет, не Психея. Скорее Валькирия...

Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый зимний рассвет медленно расплзается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, «печальные и страстные».

— Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить. Я не хочу так жить.

С того времени, как я впервые увидел Лариссу

Рейснер, прошло года три. Я часто встречаю ее то там, то здесь по разным литературным местам. Особенной дружбы между нами нет: стихи ее мне чрезвычайно не нравятся, манера держаться — тоже. Она держится «по-московски»: в одно и то же время и «декаденткой», и синим чулком, и «товарищем», и потрясательницей сердец. На мой «петербургский» взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче — я давно не завидую морскому кадету. Но...

Но сейчас, под этим бледным небом, на пустынной Неве, глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я как-то забываю все это и испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия?.. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь?.. На костер?.. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоится костра...

Тут «спасительная ирония» приходит мне на помощь. Я вспоминаю снова, что Валькирия эта — просто барышня, с провинциальными замашками, пишущая плохие стихи, которую я везу с «бала» у Юрия Слезкина, где подавалось много шампанского («Донского», по случаю войны).

И «вспомнив», говорю с соответственным тоном:
— У вас “vin triste”, Ларисса Михайловна.

Но она не слушает. Она смотрит широко раскрытыми, грустными серыми глазами на небо, такое же серое, такое же грустное.

И, помолчав, тихо, точно про себя, говорит:

— Нет, ничего не хочу, ничего не могу. В сказке — каменное сердце. Каменное? Это еще ничего. Но если мертвое, мертвое?..

**

Пышные залы Адмиралтейства ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и

блеску (1920 г. зима) гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотцами подносов душистый чай и сандвичи с икрой.

Это Ларисса Рейснер дает прием своим старым богемным знакомым. Пришли многие, кто — прослышав о икре, кто — просто из любопытства. Что ж, если забыть «особые обстоятельства», то прием как прием: кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево.

Некоторых она берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Удовольствие выпить рюмку бенедиктина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамыши Рейснер, папаша Рейснер и красивого нагло-любезного молодого человека — «самого» Раскольникова.

Компания, что и говорить, высокопоставленная. Ее так и зовут: «Ревсемейство».

Я, увы, попадаю, в число «избранных». Ведя меня через министерские покои, Ларисса Рейснер роняет тоном лэди Асквит:

— Какое безобразие эта позолота, лепка. Вкус нашего предшественника адмирала Григоровича. Все надо отделывать заново, все...

**

Последний раз я видел Лариссу Рейснер на балу «Дома Искусств». Ей, должно быть, было очень весело — она все время смеялась и все время танцевала. Голубое, широкое, сияющее, полумаскарадное платье очень шло к ней. В нем она казалась моложе, тоньше, легче, опять была похожа на ту девочку с наивной картинки, не на Валькирию — на Психею...

Потом я только слышал о ней. Слышал разное. О смертных приговорах, которые она, говорят, подписывала. О капитане Щастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, покуда шли последние приготовления к его «суду» и расстрелу. Уже за границей я узнал, что Раскольников ее бросил. Потом, в какой-то советской газете, прочел ее некролог, глупый и напыщенный, как все советские некрологи.

XV

«Кирпич в сюртуке», — словцо Розанова о Сологубе.

По внешности, действительно, не человек — камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп, маленькие, ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная.

И голос такой же:

Лила, лила, лила, качала,
Два тельно-алые стекла.
Белей лилей, алее лала.
Была бела ты и ала...

читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова.

«Обращение» тоже соответствующее:

Молодой поэт, признанная «восходящая звезда», звонит Сологубу по телефону:

— Федор Кузмич, это вы?

— Я.

— Говорит Х. Я хотел бы притти к вам...

— Зачем?

— Прочеть вам мои стихи.

— Я уже прочел их в «Аполлоне».

— Узнать ваше мнение...

— Я о них не имею мнения.

Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!

— «Федор Кузмич идет!»... — И самые отчаянные сорванцы сразу присмиривают — знают, что инспектор шутить не любит...

Впрочем, что ж школьники. Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу, и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодок» от него распространился.

Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт начинающему при этой первой встрече:

— Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были — лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете — они никому не нужны. Писание стихов глупое баловство и потеря времени...

Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно, годам к тридцати пяти.

Что было до этого? — То же самое.

Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным, «каменным» шагом по пустынным «линиям» Васильевского острова. Одинокие вечера под висячей керосиновой лампой, над «письменными», или, когда они просмотрены, над такой же «каменной», как он сам, как всё его окружающее — «Критикой чистого разума» — любимой книгой.

«Кирпич в сюртуке». Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывался, что под этим сюртуком, в «кирпиче» этом есть сердце. Как же можно было догадаться, «кто бы мог подумать»? Только к тридцати пяти годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть.

Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.



Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком):

— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу.

— О самом главном?

— Да. О страхе перед жизнью.

И, в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба:

— Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.

Я хорошо помню «каменную» улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в «блестящем» литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали «меткий парадокс» скупого на них «мэтра». Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить...

Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное — беспокойная. В самые спокойные еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми «беспокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?».

— Да... ваазмутительно... — бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорей от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячее и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора — не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно», ну, конечно, он тоже возмущен, как она, в нем то же беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника...

Беспокоилась по важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов.

«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию (О чем? Ах, мало ли, что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник — сыщик, специально посланный следить за Федором Кузмичом. Х., из почтенного, толстого журнала, — злобный маниак, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды «с вибрионами» нарочно, нарочно...

Так было еще в «спокойные» мирные времена. Что же тогда в военные, в советские!

В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди «друзьям». То, что она тщательно скрывала (донесут, все испортят) от неимоверно возросших в числе и ставших особенно злобными «врагов». Отъезд за границу.

«Вырваться из ада» — на это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее

«беспокойство». Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. «Вырваться из ада». И вот, после долгих, утомительных, изводящих хлопот — двери «ада» приоткрылись. Через две-три недели будет получен заграничный паспорт. Это наверно. «Друзья» помогли, «враги» отступились.

То, что ад в ней самой, и никакой Париж с «белыми булками и портвейном для Федора Кузмича» ничего не изменит — не сознавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая. Отводила в сторону встреченных «друзей», оглядывалась, не слышат ли «враги». Беспokoйно блестя глазами, шептала:

— Через десять дней. Наверно. И вы приезжайте.

Что «ад» в ней самой, не понимала. Но не поняла вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире (перед отъездом столько дела), спросила — надолго ли барыня уходит. Она крикнула: «Не знаю». Может, правда, не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж... Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг, со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога.

Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина. Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались. Матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тела не нашли, может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены, какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней (как раз к тому сроку, как

был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт) — стала Нева.

**
*

Чеботаревская за мгновение до смерти все еще «не знала». И Сологуб с того осеннего вечера, до весны, когда лед пошел, и тело его жены нашли — тоже «не знал».

Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять, — по девятой линии на Неву, до часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой, в столовой, — писал стихи «бержеретты» во вкусе 18-го века или переводы для «Всемирной Литературы» — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре — вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому. Шутил, охотно читал стихи пастушеские, легкомысленные «бержеретты»...

... Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в «тот вечер». Так оно и осталось.

Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески-спокойное. И голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже «каменный».

А стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»:

... С позволения вашей чести,
Милый мой пастух Коллен...

Однажды я засиделся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрыть стол.

— Может быть, пообедаете со мной, — предложил Сологуб. — Маша, поставьте третий прибор.

Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление — для кого же второй прибор, если для меня ставят третий? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось.

И каменно-любезно Сологуб пояснил:

— Э т о т прибор для Анастасии Николаевны.

А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во «Всемирную Литературу» за деньгами или в Публичную Библиотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что «барин, слава Богу, здоровы, все едят, велят не беспокоиться». Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.

Зачем ему они?

Потом Сологуб стал снова появляться то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. О Анастасии Николаевне, как о живой, не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось.

Зачем ему нужны были математические книги, — узнали позже.

Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это.

— Это дифференциалы.

— Вы занимаетесь математикой?

— Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь.

— При помощи дифференциалов?

Сологуб «каменно» улыбнулся.

— Да. И проверил. Загробная жизнь существует. И я снова встречаюсь с Анастасией Николаевной...

... Этот прибор — для Анастасии Николаевны.

... Да, я много пишу. Все больше бержеретты...

Вот это — вчера написал:

... С позволения вашей чести,

Милый мой — пастух Коллен...

Голос тот же. И улыбка та же. И скюртук — побелел только по швам. И стихи — бержеретты пастушеские. Ну, да, — «Искусство только тем и прекрасно... А кошмар»...

**
*

Много было весен,

И опять весна.

Бедный мир несносен,

И весна бедна.

Что она мне скажет,

На мои мечты,

Ту же смерть покажет,

Те же все цветы,

Что и прежде были

У больной земли,

Небесам кадили,

Никли, да цвели.

Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключко всему Сологубу.

«Искусство одна из форм лжи»? Искренно ли Сологуб считал, что это так? Или, напротив, боясь, «до дрожи», чтобы в искусстве его не «подчитал» кто-нибудь «самого главного» — придумывал — «одну из форм лжи» — такие фразы?

Не знаю. И не важно это. Важно другое:

В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой «лжи» нет. Напротив, стихи его — одни из самых «правдивых» в русской поэзии.

Они «правдивы до конца» — и художественно, и человечески. И своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и — ясным целомудрием отраженной в них «детской» души поэта.

Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван «великим поэтом». Это преувеличение, разумеется.

В искусстве «великое» начинается как раз с какой-то «победы» над тем «страхом перед жизнью», которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова — не литератором и стихотворцем — а одним из тех, которые перечислены в «Заповедях Блаженства».



И вот, Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел прощаться перед отъездом за границу, — осенью 1922 года), он сказал:

— Единственная радость, которая у меня осталась — курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю...

Еще пять лет он «как-то» жил, «чем-то» жил. Курил. Писал «бержеретты», быть может. Теперь он умер.

Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому ненужный. От воспаления легких, при котором не теряют сознания до последней минуты, а вот курить, как раз, нельзя...

XVI

В 1914 году летом по Италии путешествовал молодой человек.

Он только что кончил гимназию — это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив — черноглазый, стройный, высокий, — свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Все у него было — молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить, не считая, время, которым можно распоряжаться, как угодно. Вздумалось — и завтра же можно уехать: ну, хоть в Норвегию, или, напротив, остаться на месяц, на год, на два в этом, чуть старомодном, уютном пансионе, в белой высокой комнате, где ползучие розы заплели широкое окно, и сквозь них блаженно синее Неаполитанский залив... Молодость, свобода, Италия — женщины в него наперебой влюбляются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или надушенные записки, адресованные «красивому русскому сеньору». Молодость, Италия, свобода — вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда ли? Он сам согласен — рай. Но...

Но отчего же мне так больно
В моем счастливейшем раю?

Спрашивает он, сам недоумевая.
Отчего, зачем, в самом деле?

Да, — молодость, красота, Италия, вся жизнь
впереди, все ему улыбается. Но:

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

Эти жалобы семнадцатилетнего «баловня судьбы», эти горькие «зачем» и «отчего» не пустые слова, не «поэтические образы». Леонид Каннегиссер там же, в Италии, в своей белой комнате с окном в розах — ведет дневник. И в каждой строке этого дневника — то же самое: Зачем? Отчего?

...У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тому, у кого их нет.

Италия, молодость, свобода — «рай». Но в раю — «больно», и на сердце — «необъяснимый груз».

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

В одной строке вопрос, в следующей — ответ:
«На сердце дрогнувшем»... Да, жизнь «улыбается» этому семнадцатилетнему мальчику, да, кругом него рай. Но сердце у него «дрогнувшее», и ни в каком раю, самом «блаженнейшем», не находит и не найдет оно покоя.

Детские стихи Леонида Каннегиссера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано начал, кончу ране,
Мой путь немного свершит.
В моей груди, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый

шинелью, под проливным дождем. Каннегиссер с пулей в затылке, в подвале Че-ка.

Два «дрогнувших сердца» — нашедших, наконец, покой...

**

В «Бродячей Собаке», часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее — с мальчиком. Леониду Каннегиссеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.

Но вид у него был вполне взрослый — уверенные манеры, высокий рост, щегольской фрак. — «Поэт Леонид Каннегиссер», — назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Каннегиссер улыбнулся.

— Ну, какой там поэт. Я не придаю своим стихам значения.

— Почему же?

— Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного.

— Ну... Во-первых, «плох тот солдат»... а потом, не всем же быть Дантами. Стать просто хорошим поэтом...

— Ах, нет. Скучно и не к чему.

— Так что ваша программа — победить или умереть, — пошутил я.

Он улыбнулся одними губами, — глаза смотрели так же серьезно.

— Вроде этого...

— Только поприще для совершения подвига еще не выбрано?

Он снова улыбнулся. На этот раз широкой улыбкой, всем лицом. Семнадцатилетний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться.

— Не выбрано!

...Под сводами подвала плавал табачный дым. Звенели стаканы, зеленели лица в ярком электрическом свете. Какая-то женщина танцевала на столе, бестолковая музыка прерывалась и вновь гремела. Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал моего нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением: такую страстную романтическую путаницу «о доблести, о подвиге, о славе» стены «Бродячей Собаки», вероятно, слышали впервые...

... Когда я попал к Каннегиссеру в гости, мне пришлось удивиться снова.

«У меня соберутся несколько друзей», — писал он мне в пригласительной записке. И я живо вообразил себе — и этих друзей, так же возвышенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об «идеалах», неярко освещенную, полную ученых книг, с портретами каких-нибудь «вождей». Горячие разговоры, покрасневшие лица, окурки, чай с лимоном — словом:

До утра мы в комнате спорим,
 На рассвете один из нас
 Выступает к розовым зорям,
 • Золотой приветствовать час...

Представил и, несмотря на всю симпатию, внутреннюю мне Каннегиссером, — мне стало заранее скучновато. Но, все-таки, я пошел.

... В обвешенной шелками и уставленной «булями» гостиной щебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем без-

голосый соловей петербургских эстетов, Кузмин, — захлебывался:

... Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

Половину гостей я знал. Другая — по всему своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающиеся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое.

Но мой ночной романтик? При чем он тут?

Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно-изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем — если не считать красоты — не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша...

Нам философии не надо,
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор...

Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами из-под пенсне ворковал Кузмин.

Я подошел и взял аплодировавшего Каннегиссера за локоть.

— Вот уж не думал, что вам это может нравиться.

— Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?

— Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на

жизнь этот «милый вздор» как будто не вполне совпадает...

— Напротив, — он насмешливо раскланялся, — вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, — тогда, в «Собаке», я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги...

И он запел, подражая Кузмину:

Дважды два четыре,
 Два да три пять,
 Вот и все, что мы можем,
 Что мы можем знать...



Верниссажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал, где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенках которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надушенного Кузмина, выведено:

Здесь цепи многие развязаны,
 Все сохранит подземный зал,
 И те слова, что ночью сказаны,
 Другой бы утром не сказал.

Не сказал бы? Может быть. Но «не сказал» — не значит — забыл. О, нет. «Такое» — не забывается. А если и забудется на свежем морозном воздухе не до конца еще отравленной эстетизмом и праздностью головой — если и забудется, то ведь: «все сохранит подземный зал», забудется — снова вспомнится, едва войдешь ночью под эти низкие своды, в эти пестрые стены. С каждым разом — «забывается» все трудней. «Запоминается» все легче. Что? да это са-

мое — что цепи развязаны. «Многие цепи» — почти все...

На маскарадах, верниссажах, пятичасовых чаях и полуночных сборищах все те же лица, те же разговоры. Проходят годы, точнее, сезоны, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков. Больше ничего не меняется. Это быт. Началось это после 1905 года, кончится в 1917.

Страшно кончится.

Общественность? — Скука. Политика? — Пошлость. Работа? — Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены. Богатые — тем, что у них есть деньги, бедные — тем, что можно попросить у богатых.

Маскарады, верниссажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских остроумий, зеркальных проборов, мир, в котором меняется только узор галстуков.

Кончится это страшно. Но о конце никто не думает.

Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни «красивой и беззаботной» ворвется февраль 1917 года, те, в ком этот «быт» не доканал еще человека — опрометью бросятся на «свежий воздух». И чем больше осталось человеческого, тем стремительней бросятся, тем менее рассуждая...

А резкие перемены температуры — опасная вещь.

**
*

1916 года, зима. Поздно — часа три ночи. В гостиной полутемно и тихо. Час назад здесь толпилось и болтало много народу — слышалась музыка, пение, смех. Но теперь гости разошлись, старшие отправились спать, свет потушили, и только в углу, в неярком желтоватом свете лампы, «полуночичают» молодой хозяин и несколько его приятелей.

Гостиная петербургская и молодые люди «петербургские». Эстетический вид и эстетический разговор.

Один из собеседников выделяется — одет он каким-то мужичком из балета. Розовая рубашка, золотой пояс, гребень на тесемочке. Впрочем, весь этот туалет тот же «дэндиизм», хоть и навыворот. И на «о» этот мужичок произносит так же старательно, как остальные грассируют. Лет ему немного — не больше восемнадцати. Лицо простоватое, милое. Фамилия его Есенин.

Это все молодые поэты. Разговоры о стихах, чтение стихов. Вот, — мужичок нараспев читает. Талантливо, даже очень талантливо... если бы только не портила сусальная «народность», та же самая, что в гребешке и поясочке.

Вслед за ним читает черноглазый хозяин:

... Сердце! Бремни не надо!
Легким будь в земном пути.
Ранней ласточкой из сада,
В небо синее лети...

За хозяином — какой-то белокурый подросток. Тоже не бездарно, тоже гладко и звонко, тоже «легко», приятно для слуха и не задевает сердца. Одни стихи лучше, другие хуже, один образ удачен, другой нет, — но это не важно. Важно иное — и в стихах и в разговорах какая-то странная пустота. На ухо приятно, — сердца не задевает. Недаром час тому назад, — в той же гостиной, эти и такие-же молодые люди с гладкими проборами и гладкими стихами наперебой просили Кузмина петь еще и еще. И тот, поблескивая своими странными глазами на окружающих юнцов, — пел:

Нам философии не надо,
И глупых ссор.

Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор.

— Charmant, charmant.

— Еще, еще, Михаил Алексеевич...

Дважды два — четыре.

Два да три — пять.

Вот и все, что мы можем,

Что мы можем знать...

— Еще, еще.

И «мужичок» в своей шелковой косоворотке туда же. И ему по вкусу.

— Михоил Лексеич, — про ангела спой...

Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

... 1916 год. Неудачи на фронте все грознее. Революция в «воздухе». Да, конечно... Но, ведь, мы — поэты, что мы можем сделать? А раз не можем — остается одно:

Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор.

Кузмин поет. От его безголосого, сладкого пения, от его томного, странного взгляда, от этих наивных словечек и простеньких мотивов, идет незаметный, — но страшный яд. Тот самый, защиты от которого просят в молитве Св. Ефрема Сирина, «Дух праздности»...

Старый яд — верный яд. Временами казалось — выветрился. Нет, не выветрился, все тот же. Оттого-то и нравится так это безголосое пение — что идет от него вечное, верное, неотразимое... «Дух праздности»...

сти»... Кузмин тут не при чем. И слушатели не при чем. Ему нравится, и им нравится. Вот именно это, а не другое. Не Блок, не Сологуб, не Леонид Андреев, — мало ли кто. Нет, сейчас власть над этими человеческими душами, без всякого сомнения, в этих смугловатых руках, жеманно касающихся клавиш. Кузмин тут не при чем — не он, так другой. И слушатели не при чем — время такое.

1916 год. Неудачи на фронте. Близость революции, — как подземный гул. Да, конечно... Но ведь мы поэты, что мы можем?

И мужичок туда же:

— Михоил Лексеич, спой про яблоню...

А ведь, он, хоть в оперной косоворотке, хоть и с золотым пояском, — а в самом деле — деревенский парень. И, чтобы попасть в эту блестящую гостиную, ему пришлось многое снести, и не в области «обманутой любви и раннего разуверенья», а в самой жестокой, житейской. Всё, что испытали когда-то все русские самоучки, стремившиеся «из тьмы к свету». Известно, какой нужен «напор», чтобы не погибнуть на пол, на четверть пути. Хватило напору, все вынес, не погиб... И сидит в шелковой рубашке, в золотом пояске, с подвитыми кудрями. В порыве к «разумному, доброму, вечному» хватило сил все перенести. И вот, — добился-таки. Паркет блестит, египетские папиросы дымятся, и за эраровским роялем подрумяненный дэнди, поблескивая пенснэ, воркует и картавит.

Сеет...

«Разумное, доброе, вечное»? То, о чем так сладко и жадно мечталось когда-то в грязной избе, при дымящей лучине, за замасленным букварем?

Оно самое. В 1916 году, в Петербурге, в разгаре войны, накануне революции, в самом утонченном, самом избранном кругу истина формулируется так:

«Нам философии не надо...»

Сомнений, что это истина — никаких. Да никто и не хочет сомневаться. Всем нравится. Именно это, — а не другое. И никто не виноват.

Пришло время — и яд действует. Пришло время и яду нельзя сопротивляться...

Каннегиссер в 1917 году писал:

И, если, шатаюсь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне...

«О доблестях, о подвиге, о славе» — он давно мечтал. «Радостная смерть» за Россию, за свободу, за человечество — ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тем, что мерещилось, и тем, что оказалось в действительности.

... Россия, Свобода,
Керенский на белом коне?..

Нет, — подвал Че-ка, сухой треск нагана.

**

Мало кто знает, что убийца Урицкого — был поэтом.

«Настоящим поэтом»? Да, настоящим. Если бы он просто «писал стихи», как большинство молодых людей его возраста и круга — не стоило бы о них упоминать.

Но Каннегиссер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся от него — только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строчке.

Так вот — убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной, утысяченной чувствительностью. Покойный лейб-медик Карпинский, удивительнейший психо-невролог, говорил:

— Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку — обоим больно. Только Блоку, ругаясь вам, в пятьсот раз больнее.

Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной, уверен, что «Блоку» всегда больнее, чем «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова уж суть «поэтической природы». Не поэтам нечего на это обижаться. Гордиться, вероятно, тоже нечего...

Итак, Урицкого убил не простой «русский мальчик». Урицкого убил — поэт.

... На Миллионной схватили, как затравленного зверя. Отвезли в Че-ка. Что с ним делали там, как допрашивали? Грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны, уже расстреляны. Говорят — истязали. Долгие недели в тюрьме в ожидании казни... Никакого просвета, никакой надежды...

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачем это было нужно — не знаю. Долгие недели такой «жизни» даже трудно себе представить. А, ведь, он «прожил» их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегиссером, двадцатилетним, влюбленным, гордым...

Солдату, когда ему режут палец, если «и не так больно», как «Александру Блоку», — все же страшно, невыносимо больно.

А тут еще эта адская «таблица умножения»:

Красивый × двадцатилетний × веселый × влюбленный × гордый... и еще поэт.

**
*

Уже здесь, в Париже, я видел последнюю фотографию Каннегиссера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родных Каннегиссера выпустили, спустя несколько месяцев, из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего — если уж и рояль взяли в качестве «вещественного доказательства».

И, вернувшись, после долгих месяцев, из тюрьмы, родители Каннегиссера не нашли ни одного портрета своего казненного сына.

«Все уничтожено», — ответили в Че-ка на просьбу вернуть хоть одну фотографию.

В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

— Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

— Ваш сын умер, как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов.

Особенно страшен один, в профиль. Это — Каннегиссер? Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик?

Да, Каннегиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов, — уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость.

Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет

всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он...



Каннегиссера держали в Кронштадской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннегиссер сказал:

— Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннегиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенки. Позади — долгие недели в ожидании казни. Впереди — никакого просвета, никакой надежды...

Балтийское море дымилось,
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт...

XVII

Я близко знал и Блока и Гумилева. Слышал от них их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года — месяце их общей — такой разной и одинаково трагической смерти... Как ни неполны мои заметки о них — людей, знавших обоих, так близко, как знал я, — в России осталось, может быть, два-три человека, в эмиграции — нет ни одного...

Блок и Гумилев. Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока — и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. «Левый эсер» Блок, прославивший в «Двенадцати» Октябрь: «мы на горе всем буржуям — мировой пожар раздуем» и «белогвардеец», «монархист» Гумилев. Блок, относившийся с отвращением к войне и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир «страшным», жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим и Гумилев, утверждавший — с предельной искренностью — что «все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Блок, мечтавший всю жизнь о революции, как о «прекрасной неизбежности» — Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства. Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, — обмолвившийся о ком-то:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...

и Гумилев, назвавший кружок своих учеников *цехом поэтов*, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию, как ремесло. И так, вплоть до наружности: северный красавец, с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой рубашки — Блок и некрасивый, подтянутый, «разноглазый», коротко подстриженный, в чопорном сюртуке, Гумилев...

Противоположные во всем — всю свою недолгую жизнь, Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком «О душе», появившаяся незадолго до его смерти — резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью, по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела.



Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем.

Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока?.. Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже.

Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья, Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию, еще шире и воздушней... Мебель красного дерева — «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками — набит книгами. Стекла другого плотно

затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина — «Нью» елисеевского разлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час, снова подходит к шкапу. «Без этого» — не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет — нет ли пылинки. Блок самый серафический, самый «неземной» из поэтов — аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона — 612-00!..) снята — все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью. Гораздо чаще он отвечает на письма. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные, или сумасшедшие. Все равно — от кого бы ни было письмо — Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем — ни пылинки — письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание. Краткое содержание ответа и дата...

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах — широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

— Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока. — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса.

**
*

Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир. — Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай... Я, вслед за Чулковым, робко ступал не совсём слушавшимися от робости ногами.

Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым, и, точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем, с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице, с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания «Стихов о прекрасной Даме» с надписью «На память о разговоре».

Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока — из его Шахматова в наше виленское имение, где я проводил каникулы. Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах. О смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве... Всегда туманно, всегда обворожительно... Почерк красивый, четкий. Буквы оторваны одна от другой. Хрустящая бумага из английского волокна. Конверты на карминной подкладке. Туманные слова, складывающиеся в зыбко-мерцающие фразы...

Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывался.

— Александр Александрович, нужна ли кода к сонету? — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый «мэтр», вообще не знал, что такое кода...

В дневнике Блока 1909 г. есть запись: «говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите, — и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.



В эту блоковскую орбиту попадали немногие — но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости, либо оборвались, либо переродились, как в отношениях Блока с Андреем Белым, — в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался. А близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей — были все какие-то чудачки.

Нормальным человеком и к тому же, все-таки, — хотя и второстепенным писателем, — был среди них один Чулков. — Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно талантливым, изобретателем «мистического анархизма», в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил?

Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятней — с Евгением Ивановым и В. Зоргенфреем — которыми кстати посвящены два шедевра блоковской поэзии: одному — «У насыпи во рву некошенном», другому — потрясающие «Шаги Командора».

Пяст, поэт-диллетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья — и реформы стихосложения, на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ею одержим... Евгений Иванов — «рыжий Женя» — рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на чтонибудь и «возьмет да подсыпет мышьяку». «Рыжий Женя», в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, потом произносил ни с того, ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: «Бог» или «смерть» или «судьба» и снова замолкал. — Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно, странными рыжими «глазами, скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусить», и не отвечает. Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах — это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил Кабаллу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в насмешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин...

Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего — он их не замечает. Они попали в его орбиту — общаясь с ними он видит только себя, свое одиночество в «Страшном мире». И их лица, их голо-

са, даже их странности, к которым он привык — то же, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная «получено-отвечено» книжка с золотым обрезом, методический порядок на письменном столе. Все та же «самозащита от хаоса»...

Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков — неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокурренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам...

...Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — «Пожалей ты меня, дорогая» или на «Сопках Манчжурии». Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока. — «Бог», неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега...

Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.

Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером». Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь...

— Саша, ты великий поэт! — кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда. И, таким же, как всегда трезвым,

глуховатым голосом, медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:

— Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в «Ниве». По полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела.



С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии, за все время ее существования — уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, «дверь поэзии закрыта навсегда». Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника, — Блока человека — еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому... Там — Блок забыт, по циркуляру политбюро, как «несозвучный эпохе», здесь — в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни... Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным «ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя — стремимся понять, разгадать, — если надо — оправдать его.

Блок, как раз, как будто нуждается в оправдании. «Двенадцать» — одна из вершин поэзии Блока и, именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал «Двенадцать», — значит...

Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание «Двенадцати», не запятнан, невинен.

Первое — чистые люди не способны на грязный поступок. Второе — люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость — исключают друг друга понятия. Говоря его же стихами, он

...был весь дитя добра и света,
был весь свободы торжество.

И он же написал «Двенадцать», где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил — «в снежном венчике из роз» Христа!.. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок, действительно, «дитя добра и света», как он мог благословить преступление и грязь?

Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем «Шахматов», «квартиронанимателем», членом каких-то союзов... Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в «Страшном мире» ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее...

Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с «ободранной кожей», с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес «страшному миру» с его «мирской чепухой», он, с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее, как в реальность.

Февральская революция, после головокружения первых дней, разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в Учредительное собрание — казались ему профанацией, лозунг «Война до победного конца» — приводил в негодование...

И в картавых, домогательских выкриках человека-ненавистника и атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда...

Предельная искренность и душевная честность Блока — вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая октябрьский переворот, поэма «Двенадцать», не только была создана им во имя «добра и света», но она и есть, по существу, проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой.

Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей никогда.

Писала, прочтя «Двенадцать», Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки, подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу, они — как все у Гиппиус — очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То что, в своей непримиримости, она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания — утверждения: «душа твоя невинна».

За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.

Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом,

когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий... Но все-таки от чего он умер? «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственно-правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизанствовавших литературных кругов. Впоследствии, в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном «помешательстве» Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность: умирающего Блока навестил «просвещенный сановник», кажется теперь благополучно расстрелянный, начальник Петрогослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? — «Люба хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Димитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, poslanном Брюсову, требовал везти себя в Москву. — Я заставлю его отдать, я убью его... И начальник Петрогослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего...

Брюсов, бывший «безумец», «маг», «теург», во время войны сильно начавший склоняться к «союзу русского народа», теперь занимал ряд правительственных постов — комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки «в пользу пролетариата». Писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославлявших пролетариат и его вождей. Возможно, что по привычке «теургов» заглядывать в будущее — славя живого Ленина, сочинял, уже про запас, оду на его смерть:

Вот лежит он Ленин, Ленин,
Вот лежит он скорбен тленен...

Пильняк рассказывал, как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском «Кафэ поэтов» подробно, с научными терминами, объяснял характер помешательства Блока и его причины. Партийная директива была уже принята бывшим «безумцем» к исполнению.

**

В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил в поезде Немица, царского адмирала, ставшего адмиралом красным. Не знаю, кто именно, сам ли Немиц или кто-то из его ближайшего окружения состоял в том же, что Гумилев, таганцевском заговоре и, объезжая в специальном поезде, под охраной «красы и гордости революции» — матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали, кому надо, привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении Немица был и агент Че-ка, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал. Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным — особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева.

Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком — был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим, располагающим свойствам, этот «приятный во всех

отношениях» молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву...

Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой и новыми стихами и работой с учениками-студистами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось между прочим в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги: «По середине странствия земного». «Странствовать» на земле, вернее ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался не полный месяц...

Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева — было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их, по всем правилам акмеизма — обязательно «с придаточным предложением» — т. е. с мотивировкой мнения; «нравится, или не нравится, потому что...». «Плохо, оттого что...». Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен — потому так долго, позже обычно и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда «Дома Искусства» на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был «нэп», автомобили перестали быть, как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, улавливались «на завтра». Люди, приехавшие в стоящем у подъезда автомобиле с ордером Че-ка на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.

Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев

был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал:

умру я не на постели,
При нотариусе и враче.

**
*

Сергей Бобров, автор «Лиры лир», редактор «Центрофуги», сноб, футурист и кокаинист, близкий к В. Ч. К., и вряд ли не чекист сам, встретив вскоре после расстрела Гумилева М. Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал, между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:

— Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки, крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — сваял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...

Эту жуткую болтовню дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилев на допросах, слышанных лично мной уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного, следователя петербургской Че-ка, правда, по отделу спекуляции — Дзержибашева. Странно, но и тон рассказа и личность рассказчика выгодно отличались от тона и личности Боброва. Дзержибашев говорил о Гумилеве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал «кровавым недоразумением». Этого Дзержибашева знали многие в литературных кругах тогдашнего Петербурга. И многие, в том числе Гумилев — как это ни дико — относились

к нему... с симпатией. Впрочем, Держибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал и его неожиданный «индивидуальный» расстрел в 1924 году.

Допросы Гумилева больше походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Маккиавели до «красоты православия». Следователь Яковсон, ведший таганцевское дело, был, по словам Держибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Яковсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изошренно спорил с Гумилевым и, потом, уступал в споре, сдаваясь, или притворяясь, что сдался, перед умственным превосходством противника...

Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Яковсоном ловушку. Как незаметно, в отвлеченном споре о принципах монархии, он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Яковсону после диспута о революции «вообще» установить и запротokolить признание Гумилева, что он непримиримый враг октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилева не изменила бы его судьбы. Таганцевский процесс был для петербургской Че-ка предлогом продемонстрировать перед Че-ка всероссийской свою самостоятельность и незаменимость. Как раз тогда шел

вопрос о централизации власти и права казней в руках коллегии В. Ч. К. в Москве. Именно поэтому так старался и спешил Якобсон. Но кто знает!.. Притворись Гумилев человеком искусства, равнодушным к политике, замешанным в заговор случайно, может быть, престиж его имени — в те дни для большевиков еще не совсем пустой звук — перевесил бы обвинение? Может быть, в этом случае и доводы Горького, специально из-за Гумилева ездившего в Москву, убедили бы Ленина...

**
*

...Семилетний Гумилев упал в обморок, от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь — домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: «я вас люблю». Девочка ответила «дурак» и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи...

Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном, как бы прославиться. Мечтая о славе он вставал утром, пил чай, шел в царско-сельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум мобиле? Безразлично что — только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.

Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю

жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом по его понятиям достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном и в мелочах, силой воли, преодолевает «ветхого Адама». И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек — Гумилев «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, «грозовые» слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: «всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти — так за полгода — Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал — угадай кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни одиночество. А я так одинок...»

**
*

Всю свою короткую жизнь Гумилев признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой. Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой.

Я вежлив с жизнью современной
 Но между нами есть преграда —
 Все, что смешит ее, надменную,
 Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
 Слова затерянные ныне,
 Гремят в душе, как громы медные,
 Как голос Господа в пустыне.

О нет, я не актер трагический,
 Я ироничнее и суше.
 Я злуюсь, как идол металлический,
 Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
 Склоненные к его подножью,
 Жрецов молитвы величавые,
 Леса, охваченные дрожью,

И видит, горестно смеющийся,
 Всегда недвижимые качели,
 Где даме с грудью выдающейся,
 Пастух играет на свирели.

Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о «божественности дела поэта», о том, что

в Евангелии от Иоанна
 Сказано, что слово это Бог.

Всеми ему доступными средствами, всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы — Гумилев доказывал это и утверждал. И когда

говорят, что он умер за Россию, — необходимо добавить — «и за поэзию».



Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев, как поэт и человек, вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, помню и холодное, жестокое выражение его лица, когда он убежденно говорил: «Он, (т. е. Блок), написав «Двенадцать», вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».

Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать», как стихи, близки к гениальности. — «Тем хуже, если гениальна. Тем хуже и для поэзии, и для него самого. Дьявол, заметь, тоже гениален — тем хуже и для дьявола, и для нас»...

Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет «Александра Александровича» и «Николая Степановича», левого эсера и «белогвардейца», ненавистника войны, орденов, погон и «гусара смерти», гордившегося «нашим славным полком» и собиравшегося писать его историю, когда остались только «Блок и Гумилев» — как грустное утешение нам, пережившим их, — ясно то, чего они сами не понимали.

Что их вражда была недоразумением, что и как поэты, и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга. Что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогое для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились.

Оба жили и дышали поэзией — вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавидели фальшь, ложь, притворство, недобросовестность — в творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были готовы во имя этой «метафизической чести» — высшей ответственности поэта перед Богом и собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали.

XVIII

27-го декабря 1925 года Сергей Есенин покончил с собой в гостинице — «Англетер» — известном всем петербуржцам, стареньком, скромно-барственном отеле на Исаакиевской площади.

Из окон этой гостиницы видны, направо за Исаакием, дворец из черного мрамора — дом Зубовых. Налево, по другую сторону Мойки, высится здание Государственного Контроля. В обоих этих домах, в предреволюционные годы, бился пульс литературно-артистической петербургской жизни, в обоих — частым гостем бывал Есенин...

Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова, он смотрел, на уютившийся на другой стороне площади, двухэтажный «Англетер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито мужицкой грубостью непонятных слов:

...Пахнет рыжими драценами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз...

Прелестно... Прелестно... Аплодисменты, любезные улыбки — Сергей Александрович, Сережа... Прочтите еще или, еще лучше, спойте. Вы так грациозно поете эти... как их?.. частушки.

Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня... Рослые лакеи в камзолах и бе-

лых чулках разносят чай, шерри-бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина, как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок в душистой оранжерее:

...Я одну мечту, скрывая, нежу,
 Что я сердцем чист, —
 Но и я кого-нибудь зарезу
 Под осенний свист!..

Налево от Исаакия, по той стороне Мойки, в бельэтаже здания Государственного Контроля гостинные менее пышные, мебель не такая редкостная, как у Зубовых. Но общество почти то же. Эта квартира известного сановника X.

Впрочем, сам X. на приемах этих никогда не показывается. Гости — приятели его племянника М. А. Ковалева, поэта Рюрика Ивнева. Рюрик Ивнев — ближайший друг и неразлучный спутник Есенина. Щуплая фигурка, бледное птичье личико, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных щурящихся глаз. Одет изысканно-неряшливо. На дорогом костюме — пятно. Изящный галстук на боку. Каблуки лакированных туфель — стоптаны. Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается. И почти к каждому слову прибавляет — полувопросительно, полурастерянно — Что? Что? — Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи — что?

Общество почти то же, как и в зубовском дворце, однако, не совсем. Здесь вперемежку с лощеными костюмами мелькают подрясники, волосы в скобку и сапоги бутылками.

Есенин сидит на почетном месте. С ним нараспев беседует, вернее, поучает его, человек средних лет, одетый «под ямщика». На его лице расплывается сахарная улыбочка, но серые глаза умны и холодны.

Это тоже мужицкий поэт — «олонецкий гусяр», как он сам себя рекомендует, — Николай Клюев.

— Скоро, скоро, Сереженька, забудут фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится, — воркует Клюев. Есенин почтительно слушает, но в глубине его глаз прячется лукавый огонек. Он очень любит Клюева и находится под его большим влиянием. Но в «фонтаны огненные», повидимому, не особенно верит...

— Что? Что? — слышится рядом шепелявый голос Рюрика Ивнева. — Я? Я — убежденный пацифист! Что? Даже, вернее сказать, — пораженец. Единственный шанс России — открыть фронт и принять победителей с колокольным звоном. Единственная возможность спастись. — Что?

Кстати, оба — Клюев и Ивнев — сыграют в жизни Есенина роковую роль. Через них он заведет те знакомства, которые сблизят его, впоследствии, с большевиками. Судьбы этих двух, таких различных людей, тоже различны. Последнее, что дошло до меня в конце 20-х, начале 30-х годов — о Ивневе, был слух о назначении его... советским полпредом не то в Персию, не то в Афганистан... Клюева, в эпоху раскулачивания, сослали в Сибирь. Из Сибири он обратился к Сталину с патетическим прошением в стихах, кончавшимся так: «Дай жить или умереть позволь!» — «Отец народов» великодушно позволил Клюеву умереть...

**
*

Поздно вечером в день самоубийства Есенин неожиданно пришел именно к Клюеву. Отношения их уже давно испортились, и они почти не встречались... Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Клюев, по-стариковски лепеча — «Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь...» — поспешил выпроводить своего

бывшего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Клюева Есенин поехал прямо в отель «Англетер».

Есенин покончил с собой на рассвете. Сперва неудачно, пытался вскрыть вены, потом повесился, дважды обмотав вокруг шеи ремень от заграничного чемодана — память свадебного путешествия с Айседорой Дункан. Перед смертью он произвел в комнате невероятный разгром. Стулья были перевернуты, матрац и белье стянуты с постели на пол, зеркало разбито, все кругом забрызгано кровью. Кровью же, из неудачно вскрытой вены, Есенин написал предсмертное письмо-восьмистишье, начинающееся словами:

До свиданья, друг мой, до свиданья...



Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь — Есенин возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми. Ими жил и от них погиб. Может быть оттого, что эти страсти не нашли себе полного выхода ни в его стихах, ни в оборванной судорогой самоубийства жизни — с посмертной судьбой Есенина произошла волшебная странность. Он мертв уже четверть века, но все связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умирания, умиротворения, забвения, продолжает жить. Живут не только его стихи, а всё «есенинское», Есенин «вообще», если можно так выразиться. Всё, что его окружало, волновало, мучило, радовало, всё, что с ним как-нибудь соприкасалось, — до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня...

Я ощущаю это приблизительно так. Если, например, где-нибудь сохранилось и висит на вешалке пальто и шляпа Есенина, — то висят они, как шляпа и

пальто живого человека, которые он только что снял. Они еще сохраняют его тепло, дышат его существом. Неясно? Недоказуемо? Согласен. Ни пояснять, ни доказывать не берусь. Убежден, однако, что не я один из числа тех, кому дорог Есенин, ощущаю эту недоказуемо-неопровержимую жизненность всего «есенинского»... вплоть до его старой шляпы. И это же необычайное свойство придает всем, даже неудачным, даже совсем слабым стихам Есенина — особые силу и значение. И, заодно, заранее, лишает объективности наши суждения о них. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого это очарование перестанет действовать. Возможно, даже вероятно, что их оценка будет много более сдержанной, чем наша. Только произойдет это очень нескоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. В этом исключительность, я бы сказал «гениальность» есенинской судьбы. Пока Родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое «бессмертие», — а временная, как русская мука и такая же долгая, как она, — ж и з н ь .

**
*

Впервые имя Есенина я услышал осенью или зимой 1913 г. Федор Сологуб со своим обычным, надменно-брюзгливым выражением гладко-выбритого белого «каменного» лица — «кирпич в сюртуке» — слово Розанова о Сологубе, — рассказывал в редакции журнала «Новая Жизнь» о юном крестьянском поэте, приходившем к нему представляться.

...— Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... — неодобрительно описывал Есенина Сологуб. — Потееет от почтительности, сидит на кончике стула — каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: — «Ах, Федор Кузьмич!» — «Ох, Федор Кузьмич!» И все это чистойшей воды притворство! Льстит,

а про себя думает, — ублажу старого хрена, — пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, — я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался — тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам — будет помнить старого хрена!..

И, тут же, не меня брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Н. Архипову тетрадку стихов Есенина.

— Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать — украсят журнал. И аванс советую дать. Мальчишка все-таки прямо из деревни — в кармане должно быть пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из Аполлона.

Потом о Есенине заговорили сразу со всех сторон. Вскоре мы познакомились и стали постоянно то там, то тут встречаться. Начало карьеры Есенина прошло у меня на глазах. Но после февральской революции он, примкнув к имажинистам, перебрался в Москву и я его больше, кроме одной, случайной встречи в Берлине, — не видел.

За три, три с половиной года жизни в Петербурге — Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его «бархатной шкуркой», проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорством, близким к хулиганству, само-

мнением, недалеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в лево-либеральных литературных кругах.

Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 г. вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: — «Наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин — представлялся Александре Федоровне в царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от Императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так С. И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные Записки» — «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку, не портить здоровья «из-за какого-то ренегата».

Книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции. Посвящение Государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубня» с роковым: «Благоговей-

но посвящаю»... В магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр, с пометкой «чрезвычайно курьезно», значился в каталоге редких книг. Был он и в руках В. Ф. Ходасевича.

Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства — русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. Но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать. Революция, разрушив эти загадочные расчеты Есенина, забавным образом освободила его и от неизбежных либеральных репрессий. Произошла забавная метаморфоза: всемогущая оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. «Соль земли русской» вдруг потеряла вкус... До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», — достаточно было двух-трех телефонных звонков «папы» Милюкова, кому следует, из редакционного кабинета «Речи». Дальше машина «общественного мнения» работала уже сама — автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных, недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников «великой, бескровной» — Есенину, как говорится, было «плевать с высокого дерева». Ему было прекрасно известно, что «настоящие люди» сидят не в министерствах Временного Правительства, а на даче Дурново, в особняке Кшесинской, в «совете рабочих, крестьянских и солдатских» депутатов... Связи в этой среде — открывали все двери, уничтожали последствия любого, не только опрометчивого поступка, но и любого преступления. У Есенина же через Рюрика Ивнева, Клюева, Горького, Иванова-Разумни-

ка, Бонч-Бруевича знакомства, разветвляясь, поднимались до самых «вершин» — Мамонта Дальского, Луначарского, Троцкого... до самого Ленина...



Сразу же после октябрьского переворота Есенин оказался не в партии, — членом В. К. П. он никогда так и не стал, — но в непосредственной близости к «советским верхам». Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось.

Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или, тем более, в старой эмиграции, психологически невозможно. От происхождения до душевного склада — все располагало его отвернуться от «керенской России», и не за страх, а за совесть, поддержать «рабоче-крестьянскую».

Прежде всего, для Есенина сближение с большевиками не имело, неизбежного для любого русского интеллигента, зловещего оттенка и з м е н ы. Наоборот, — по его тогдашним понятиям, это Временное Правительство изменило Царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, — выполнил народную волю. Так, по-мужицки, инстинктивно рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья: Клюев, Пимен Карпов, Клычков.

Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие «февральской властью», были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с Императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и к-о «ужасный поступок» Есенина был просто «забавным пустяком». — «Ну, пробрался парень с заднего крыльца к Царице

в расчете поживиться! Экая, подумаешь, важность! Раз теперь он с нами, да к тому же, как человек талантливый, нам нужен и дело с концом». — «Ты за кого? За нас или против? Если против — к стенке. Если «за», иди к нам и работай». Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был «за». И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью.

Да, искренностью. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство было проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать, «идейно». Он не был проходимцем и не продавал себя. В Смольный его привели те же надежды, с которыми полтора года тому назад он входил в царскосельский дворец. От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от Царицы. Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит сквозь все его ранние стихи, исконно-русской, проросшей сквозь века в народную душу, мечты о справедливом, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают «господа».

Клюев, повлиявший на Есенина больше, чем кто-нибудь другой, называл эту мечту то «Новым Градом», то «Лесной Правдой». Есенин назвал ее «Инонией». Поэма под этим названием, написанная в 1918 г., — ключ к пониманию Есенина эпохи военного коммунизма. Как стихи, это, вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ, яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений.

Очищенная от стилистических украшений и поэтических иносказаний, эта «мужицкая мечта» Есенина-Клюева сводилась в общих чертах к следующему. Идеальное «Лесное Царство» наступит на Святой Руси, когда в ней будет уничтожено все наносное, искусственное, чуждое народу, называемое Империей, культурой, интеллигенцией, правовым порядком и т. д.

Надо запустить красного петуха, который все это сожжет. Тогда-то и встанет из пепла, как Китеж со дна озера, Новый Град. Откуда запустят красного петуха, — справа или слева, что поможет осуществиться на Руси «Лесной Правде» — дубинка союза Михаила Архангела или динамитные жилеты и бомбы террористов, особого значения не имеет...

Клюев вскоре после захвата власти большевиками выразил все это в замечательном стихотворении. К сожалению, помню из него только несколько строк, но и они достаточно выразительны:

Есть в Смольном потемки трущоб,
Где привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси Великой.
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах...

То, что «Великая Русь» лежит в Смольном в гробу, отнюдь не выражение горя Клюева по поводу ее смерти, или негодования по адресу ее убийц из Смольного. Совсем наоборот. Скорее радость — долгожданное начало сбываться. Былая Русь, пусть «великая», но господская, интеллигентская, «не наша», наконец, умерла, — туда ей и дорога. Место для «Нового Града» расчищено. И Ленин — сегодняшней убийца былой Руси — подходящий строитель будущей. Стихи отмечают радующие Клюева в Ленине черты: керженский, т. е. народный, мужицкий дух. Игуменский, т. е. одновременно хозяйский и монастырско-церковный «окрик» в декретах. Ясно: Ленин человек стоящий, правильный, свой. И помогать ему «правильное дело», долг каждого мужика.

Боже, свободу храни,
Красного государя коммуны!

тогда же восклицал Клюев. И в те дни, для него, для Есенина и для близких им по духу людей, а таких было много, это звучало не нелепостью, как теперь, а торжественным «ныне отпускаеши»...

**
*

Есенин в СССР давно развенчан и разоблачен. В учебниках словесности ему посвящают несколько строк, цель которых внушить советским школьникам, что Есенина не за что любить, да и незачем читать: он поэт второстепенный, «мелкобуржуазный», несо-звучный эпохе...

Ни в печати, ни в радио имя Есенина никогда не упоминается. Из библиотек его книги изъяты. Одним словом, официально, Есенин забыт и навсегда сдан в архив...

А популярность Есенина, между тем, все растет. Стихи его в списках расходятся по всем углам России. Их заучивают наизусть, распевают, как песни. Возникают, несмотря на неодобрение властей, кружки его поклонниц под романтическим названием «невесты Есенина». Оказавшись в условиях относительной лагерной свободы, Ди-Пи переиздают его стихи. И эти, неряшливо отпечатанные и недешево стоящие книжки, — бойко расходятся не только в лагерях, но и в среде старых эмигрантов, — людей, как известно, к поэзии наредкость равнодушных.

В чем же все-таки секрет этого, все растущего, обаяния Есенина?

Без сомнения, Есенин очень талантливый поэт. Но так же несомненно, что дарование его нельзя назвать первоклассным. Он не только не Пушкин, но и не Некрасов или Фет. К тому же ряд обстоятельств — от слишком легкой и быстрой славы, до недостатка культуры — помешали дарованию Есенина гармонически развиваться. И в его литературном наследстве больше падений и ошибок, чем счастливых находок и удач...

Но как-то, само собой, случилось так, что по отношению к Есенину, формальная оценка кажется ненужным делом. Конечно, стихи Есенина, как всякие стихи, состоят из разных «пеонов, пиррихийев, анакруз»... Конечно, и их можно под этим углом взвесить и разобрать. Но это, вообще скучное занятие, особенно скучное, когда в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весеннего воздуха можно тоже исследовать и определить, но... насколько естественней просто вдохнуть его полной грудью...

И совершенно также не хочется подходить к биографии и личности Есенина с обычными мерками: нравственно-безнравственно, допустимо-недопустимо, белое-красное. В отношении Есенина это тоже неважно, и бесполезно.

Важно другое. Например, такой удивительный, но неопровержимый факт: на любви к Есенину сходятся и шестнадцатилетняя «невеста Есенина», комсомолка, и пятидесятилетний, сохранивший стопроцентную непримиримость, «белогвардеец». Два полюса искаженного и раздробленного революцией русского сознания, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, сходятся на Есенине, — т. е. сходятся на русской поэзии. Т. е. на поэзии вообще. — Т. е. на том, суть чего Жуковский, когда-то, так хорошо определил:

«Поэзия есть Бог в святых
мечтах земли...»

Бог в святых мечтах... т. е. противоядие против безбожия, диамата, рабства тела, растления душ... т. е., в конечном счете, антибольшевизм.

Распространенное объяснение опалы Есенина тем, что он крестьянский поэт неудовлетворительно. Доживи Есенин, как Клюев, до коллективизации, вероятно, и ему бы пришлось ответить за «кулацкие тенденции». Но Есенин давно мертв. А, беспощадный к жи-

вым, большевизм, мы знаем, наредкость снисходителен к покойникам, особенно знаменитым. Это понятно: атрибутов «великого октября», которые можно сохранить без опасности для нынешнего режима, становится все меньше и меньше. Одной мумии Ленина, как никак, недостаточно. Эту недохватку и заполняют с успехом разные прославленные мертвецы, разные «города Горького», «площади Маяковского» и т. д. Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни... Но у Есенина есть перед советской властью другой непростительный грех, — грех посмертный. Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание общей вины и общего братства сливаются в общую надежду на освобождение...

Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то он и объявлен «несозвучным эпохе»...



В конце 1921 года в Москву, в погоне за убывающей славой, приехала Айседора Дункан.

Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От «божественной босоножки», «ожившей статуи» — осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла. Но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбежала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, — зрелище было довольно грустное. Но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью, и, главное, танцевала в еще неизбалованной знатными иностранцами «красной столице».

И вдобавок, танцевала с красным флагом! Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окуженный членами совнаркома, из Царской ложи подавал к ним сигнал.

После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, — знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взынченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной. И, по своему обыкновению, оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного «разделить» с ней сегодняшний триумф...

Дункан подошла к Есенину своей «скользящей» походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого «скромного простачка». Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее — «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и, в голос, как деревенская баба, зарыдала.

Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она, тут же на оконном стекле, выцарапала:

*“Esenin is a huligan,
Esenin is an angel!”*

— Есенин хулиган, Есенин ангел. Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья «крестьянского поэта» — завершился «законным браком». Айседора и Есенин, зарегистрировавшись в московском ЗАГС-е, уехали за границу — в Европу, в Америку, из Америки обратно в Европу. Брак оказался недолгим и неудачным...

...Весной 1923 года я был в берлинском ресторане Ферстера, на Мотцштрассе. Кончив обедать, я шел к выходу. Вдруг меня окликнули по-русски из-за стола, где сидела большая шумная компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Я не удивился. Что он со своей Айседорой в Берлине, я уже слышал на днях от М. Горького.

Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишеский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. — Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим. Вы что же проездом или эмигрантом заделались? Если не торопитесь, присоединяйтесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу...

Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся. — Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уже цилиндр и пальмерстон... — Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. — Помните, как я когда-то у Городецкого в плюсовых штанах, подпоясанный золотым ремешком, выступал. Не забыли?

— Помните? — Есенин смеется. — Умора! На что я тогда похож был! Ряженный!.. — Да, конечно, ряженный. Только и сейчас в Берлине в этом пальто, которое он почему-то зовет пальмерстоном и цилиндре, у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю.

Мы идем по тихим улицам Вестена. Есенин, помолчав, говорит: — А признайтесь, — противен я был вам, петербуржцам. И вам, и Гумилеву, и этой осе Ахматовой. В «Аполлоне» меня так и не напечатали. А вот Блок тот меня сразу признал. И совет мне отличный дал: «Раскачнитесь посильнее на качелях жизни». — Я и раскачнулся! И еще раскачнусь! Интересно,

что бы сказал Александр Александрович, если бы видел мою раскачку, а?

Я молчу, но Есенин как будто и не ждет от меня ответа. Он продолжает о Блоке: — Ах, как я любил Александра Александровича. Влюблен в него был. Первым поэтом его считал. А вот теперь, — он делает паузу. — Теперь многие — Луначарский там да и другие пишут, что я первый. Слыхали наверно? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй? Брехня?

Он вдруг останавливается: — Хотите махнем к нам в Адлон? Айседору разбудим. Она рада будет. Кофе нам турецкий сварит. Поедем, право? И мне с вами удобней — без извинений, объяснений... Я ведь оттого сегодня один обедал, потому что опять поругался с ней. Ругаемся мы часто. Скверно это, сам знаю. Злит она меня. Замечательная баба, знаменитость, умница, — а недостает чего-то, самого главного. Того, что мы, русские, душой зовем...

— Поедем, право, в Адлон. — Не хотите? — Ну, как-нибудь в другой раз. Следует вам все-таки с ней познакомиться. Посмотреть, как она с шарфом танцует. Замечательно. Оживает у ней в руках шарф. Держит она его за хвост, а сама в пляс. И кажется не шарф, — а хулиган у нее в руках. Будто не она одна, а двое танцуют. Глазам не веришь, такая, — как это? — экспрессия получается... Хулиган ее и обнимает, и треплет и душит... А потом вдруг, раз! и шарф у ней под ногами. Сорвала она его, растоптала — и крышка! — Нет хулигана, смятая тряпка на полу валяется... Удивительно она это проделывает. Сердце сжимается. Видеть спокойно не могу. Точно это я у нее под ногами лежу. Точно это мне крышка.

Я тороплюсь, меня ждут. Описание танца с шарфом оставляет меня холодным. Мне представляется, запыхавшаяся Дункан, тяжело прыгающая с красным флагом по сцене Большого московского театра. Вол-

нение, с которым говорит Есенин, не передается мне. Волнение я испытаю потом, когда прочту, как Есенин повесился на ремне одного из тех самых чемоданов, которые сейчас лежат в его номере Адлона — самой шикарной гостиницы Берлина. И еще потом, года два спустя, узнав, что Айседору Дункан в Ницце, — на Promenade des Anglais, задушил ее собственный шарф...

Да:

...Бывают странными пророками
поэты иногда...

Как не согласиться — бывают...

Я останавливаюсь у подъезда дома, где меня ждут. — Как? Уже? — удивляется Есенин. — А я только разоткровенничался с вами. Жаль, жаль, как говорит заяц в сказках Афанасьева. Ну, все равно. Со мной ведь всегда так. Только разоткровенничался — сейчас что-нибудь и заткнет глотку. И в жизни и в стихах — всегда. Скучно это. Завидуют мне многие, а чему завидовать, раз я так скучаю. И хулиганю я и пьянствую — все от скуки. Правильно я как-то сам себе сказал:

Проплясал, проплакал день весенний,
Замерзла гроза.
Скучно мне с тобой Сергей Есенин
Поднимать глаза.

Ах, до чего скучно! До чорта. Ну... до свиданья... я уж со скуки этой закачусь куда-нибудь.

Пушу дым коромыслом. Раскачусь.

Взмах цилиндра, широкая пола «пальмерстона», мелькнувшая в дверцах такси...



После этой нашей последней встречи — Есенин прожил два года с небольшим. Но испытанного и пережитого им за это время хватило бы на целую — долгую, бурную и очень несчастную жизнь. Было с ним, до 23 ноября 1925 года, много, очень много «всякого».

Был разрыв с Айседорой и одинокое возвращение в Москву. Была новая женитьба и новый разрыв. Было, попутно, много других любовных встреч и разлук. Было путешествие в Персию и «вынужденный отдых»... в лечебнице душевно-больных. Была последняя, очень грустная, поездка в деревню, где все разочаровало поэта. Были, наконец, новые кутежи и дебоши, отличавшиеся от прежних тем, что теперь они неизменно кончались антисоветскими и антисемитскими выходками. Пьяный Есенин, чуть ли не каждую ночь кричал, на весь ресторан, а то и на всю Красную Площадь — «Бей коммунистов — спасай Россию» — и прочее в том же духе. Всякого другого на месте Есенина, конечно бы, расстреляли. Но с «первым крестьянским поэтом» озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усюветить — безрезультатно. Пытались припугнуть, устроив над Есениным «общественный суд» в «Доме Печати», — тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано: скандалящего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, «не давая делу дальнейшего хода». Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо...

Есенин типичный представитель своего народа и своего времени. За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных, «Есениных» — его братья по духу, «соучастники-жертвы» революции.

Такие же, как он, закруженные ее вихрем, ослепленные ею, потерявшие критерий добра и зла, правды и лжи, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь. Променявшие Бога на «диамат», Россию на интернационал и, в конце концов, очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции. Судьба Есенина — их судьба, в его голосе звучат их голоса. Поэтому-то стихи Есенина и ударяют с такой «неведомой силой» по русским сердцам, и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно, пушкински-незаменимо.

Подчеркиваю: для России наших дней. То есть, для того, что уцелело после тридцати двух лет нового татарского ига, от Великой России.

Ту былую Россию, даже скупой на похвалы, холодный сноб Поль Валери назвал в своем дневнике «одним из трех чудес мировой истории» — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX в.

Сознаемся, как это ни горько, что от этого «чуда мировой истории», в нынешней С.С.С.Р., сохранилось не многим больше, чем от Эллады Фидия... в современной Греции. Достоевский сказал: «Пушкин — наше всё». И нельзя было точнее и вернее определить взаимоотношения Пушкина и России до революции. «Наше всё» значило, что величие Пушкина равно величию породившей его культуры, что имена Пушкина и России почти синонимы.

Увы! — Пушкин и С.С.С.Р. не только не синонимы, но просто несравнимые величины. Нельзя, пожалуй, опуститься ниже по сравнению с уровнем его божественной, нравственной и творческой гармонии, чем опустилась «страна пролетарской культуры», наша несчастная Родина!

Обрести право опять назвать Пушкина «нашим всем», подняться до него, дело долгое и трудное, которое еще очень нескоро удастся России.

Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом и ее падения и ее стремления возродиться. В этом «пушкинская» незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он наследник Пушкина наших дней.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Стихи: «Отплытие на остров Цитеру», СПб 1912.

«Горница», изд. «Гиперборей», СПб 1914.

«Памятник Славы», изд. «Лукоморье», Петроград 1915.

«Вереск», изд. «Альциона», Москва 1916; второе издание
З. И. Гржебина, Берлин 1922.

«Сады», изд. «Петрополис», Петроград 1921; второе изда-
ние С. Ефрон, Берлин 1922.

«Лампада», собр. стихов, изд. «Мысль», Петроград 1921;
второе издание «Мысль» 1923.

«Розы», изд. «Родник», Париж 1930.

«Отплытие на остров Цитеру», избр. стихи, «Петрополис»
Берлин 1937.

«Портрет без сходства», изд. «Рифма», Париж 1950.

Проза: «Третий Рим», «Современные Записки», 1931; «Распад
Атома», «Дом Книги», Париж 1938.

Переводы: Вольтер «Орлеанская Девственница», 2 тома в сотруд.
с Г. Адамовичем и Н. Гумилевым, «Всемирная Лите-
ратура», Петроград 1924.

Кольридус «Кристабель», изд. «Петрополис», Берлин 1922.

«С. Ж. Пэрс», «Анабазис» в сотрудн. с Г. Адамовичем, изд.
Поволоцкого, Париж 1925.

Под редакцией со вступительными статьями:

Гумилев, «Посмертные стихи», Петроград, изд. «Мысль»
1923; Гумилев «Письма о русской поэзии», изд. «Мысль»,
Петроград 1923; Гумилев «Чужое небо», изд. «Петропо-
лис», 1936 Берлин; Есенин «Избранные стихи», «Возрож-
дение», 1951 Париж.

**ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМ. ЧЕХОВА В НЬЮ-ИОРКЕ:**

И. БУНИН — Жизнь Арсеньева. Роман. Первое полное издание. 388 стр. \$2.75

Иван Бунин — единственный русский писатель, удостоившийся Нобелевской премии. Рукой большого мастера в «Жизни Арсеньева» запечатлены детство и юность писателя, протекшие в местах, где жили Лермонтов, Тургенев, Толстой, Фет.

С. ЮРАСОВ — Враг народа. Роман. 208 стр. \$2.00

На фоне жизни советской администрации в Восточной зоне Германии автор — бывший подполковник Советской армии — нарисовал портрет советского майора Федора Панина, после тяжких разочарований решившего порвать с советским правительством и стать эмигрантом.

С. МАЛАХОВ — Летчики. Пьеса. 72 стр. \$1.00

В драматической форме в этой пьесе поставлены вопросы, волнующие каждого, как нового эмигранта, так и подсоветского человека. Пьеса уже принята к постановке Новым театром в Нью-Йорке.

А. АХМАТОВА — Избранные стихотворения. 272 стр. \$2.25

В одной книге собраны стихи из всех ранее вышедших сборников Ахматовой, а также стихи последних лет (1940 — 1946 гг.). Вскоре после 2-ой мировой войны творчество Ахматовой в Советском Союзе было объявлено «чуждым» по своим настроениям «советскому народу». Это не мешает Ахматовой попрежнему пользоваться признанием и симпатией в широких кругах читателей.

М. БУЛГАКОВ — Сборник рассказов. 212 стр. \$1.75

Михаил Булгаков принадлежит к числу пионеров советского периода русской литературы. Благодаря, однако, своему сатирическому таланту покойный писатель рано попал в списки неугодных авторов в СССР.

Н. ТЕФФИ — Земная радуга. Сборник рассказов из жизни русской эмиграции. 285 стр. \$2.00

Тысячи русских людей совершили вместе с Тэффи незабываемый «исход» из России вскоре после Октябрьского переворота. И каждый из них — словом, взглядом, жестом — оставил след в творческой памяти писательницы и отразился в «Земной радуге».

Ю. ЕЛАГИН — Укрощение искусств. Воспоминания музыканта. 436 стр. \$3.00

Книга эта, сперва вышедшая по-английски, удостоилась очень лестных отзывов в американской печати. Написанная в непритязательной форме воспоминаний молодого музыканта, она дает яркое представление о реальных условиях жизни не только музыкантов и деятелей театра, но и писателей, лишенных основного условия для творчества — свободы.

В. АЛЕКСЕЕВ — Невидимая Россия. 405 стр. \$2.75

Повесть-хроника о жизни советской молодежи, об организации первых религиозно-политических подпольных кружков. Повесть эта в значительной степени автобиографична. Автор сам вышел из кругов той советской молодежи, которой показались тесными официальные советские организации. Искренне и просто Алексеев рассказывает, как из осторожных бесед с такими же, как и он, юношами, искателями правды и смысла жизни, возникли кружки, члены которых были позже арестованы и отбывали советскую каторгу.

М. КОРЯКОВ — Освобождение души. 372 стр. \$2.75

Не случайно книга Корякова начинается двумя очерками о боях на подступах к Москве, в которых он принял участие. Сквозь огонь и страдания открылась автору правда: диктаторской власти не удалось сломить дух русского народа. Сталинизм обречен на уничтожение, он погибнет в огне возрожденной веры советской молодежи в ценность религии и человеческой личности. Впервые к этому выводу Коряков пришел, еще работая в Толстовском музее в Ясной Поляне.

В серии внутренне-связанных очерков автор воспроизводит основные этапы его собственного освобождения из пут официального мировоззрения, которые и привели его к решению порвать с СССР.

С. МАКСИМОВ — Тайга. Сборник рассказов. 208 стр. \$1.75

Молодой автор из ДИ-ПИ, два года назад приехавший в США, уже успел обратить на себя внимание читателей и критики своим романом «Денис Бушуев», который вышел по-английски, по-немецки и по-русски.

В Тайгу вошли рассказы о людях, с которыми Максимов познакомился, когда сам отбывал концлагерь. Тайга — дремучая и неизведанная — фон этих рассказов. Но такой же неизведанной,

дремучей, а порой и страшной, является душа многих действующих лиц этих рассказов.

А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС — На путях к свободе.
Воспоминания. 416 стр. \$3.00

Автор книги — романистка и журналистка — А. В. Тыркова-Вильямс выросла в скромном дворянском гнезде Новгородской губернии. Душой многочисленной и дружной семьи была мать, духовный облик которой сложился под влиянием идеалов шестидесятников. А. В. Тыркова-Вильямс продолжала путь матери: она рано примкнула к освободительному движению 90-х годов, позже, вступив в конституционно-демократическую партию (к.-д.), стала членом ее центрального комитета.

Мемуары Тырковой пронизаны независимостью суждений, широкой терпимостью к людям и непоколебимой верой в право народа на разных путях бороться за свое счастье и свободу.

К. КРИПТОН — Осада Ленинграда. Записки очевидца.
256 стр. \$2.00

Об осаде Ленинграда имеется уже целая библиотека воспоминаний, романов, пьес, стихов. Но почти все эти книги написаны в Советском Союзе. Чем дальше, тем больше, авторы их, желая смягчить ответственность советской власти за гибель от голодной смерти сотен тысяч людей, представляют эту драму Ленинграда в неверном свете. Ценность книги Криптона в том, что ее написал молодой ученый, который не только сам пережил эту осаду, но, вырвавшись из Советского Союза и поселившись в США, получил возможность правдиво написать эту, едва ли не самую трагическую главу из истории недавней войны, запечатленную голодной, героической смертью сотен тысяч жителей Ленинграда.

Ф. Ю. ТЮТЧЕВ — Избранные стихотворения. Предисловие В. В. Тютчева. 272 стр. \$2.00

Литература почти каждого народа имеет писателей и поэтов, не оцененных своими современниками. Тютчев — один из таких поэтов. При жизни его по достоинству оценили только немногие, но среди этих немногих были Пушкин, Вяземский, Жуковский, несколько позже — Некрасов и Тургенев.

Широкое признание лирический талант Тютчева получил только в конце 19-го и в начале 20-го века. Сегодня трудно себе представить школьную хрестоматию и антологию русской поэзии без стихотворений Тютчева. Множество стихов поэта увековечено в музыкальных произведениях таких композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Гречанинов.

Е. ЗАМЯТИН — Мы. Роман. С предисловием

В. Александровой. 224 стр.

\$1.75

Замятин — один из самых значительных писателей, выдвинувшихся в литературе незадолго до революции 1917 года. В конце двадцатых годов Замятин покинул Советский Союз и стал эмигрантом. Непосредственным толчком, ускорившим отъезд писателя, послужил конфликт Замятина с начальством из-за романа «Мы». Он был написан еще в 1920 году, был уже набран и сверстан, но цензура не разрешила его выпустить в свет. Рукопись романа попала за границу и в 1924 году роман появился в американском издательстве Доттон, а затем был переведен на многие другие языки. По-русски он был напечатан только в сокращенном виде и в переводе с чешского языка. Замятина обвинили в том, что он сам переслал рукопись «Мы» за границу. «Мы» — политический памфлет, в котором Замятин предвосхитил много существенных черт сталинского тоталитарного государства.

Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ — Последняя книга. Рассказы.

256 стр.

\$2.00

Уроженец Сибири, покойный Б. Пантелеймонов — один из многих писателей, выдвинувшихся в эмиграции. Инженер по образованию и профессии, Пантелеймонов писать начал поздно. Но уже первая его книга «Зеленый шум», вышедшая в 1947 году, была сразу замечена. Такой же успех поджидал и последующие произведения — «Звериный знак» и «Золотое число» (роман о жизни Менделеева) и др. Этими произведениями Пантелеймонов обеспечил себе прочное место в современной русской литературе. Такими же достоинствами отмечены рассказы его посмертной «Последней книги». Поразителен язык Пантелеймонова: он точен в обрисовке действующих лиц, богат, гибок и певуч в описаниях русской природы.

Н. В. ГОГОЛЬ — Повести. С предисловием В. Набокова.

272 стр.

\$2.00

Выпуская в свет повести Гоголя, Издательство руководствовалось желанием внести свою скромную лепту в ознаменование столетия со дня смерти писателя. Оно остановило свой выбор на повестях Гоголя, центральное место в которых занимают так называемые петербургские повести — «Невский проспект», «Нос», «Шинель», «Портрет», ибо именно с этих повестей ведет свое начало та новая русская литература, которая обеспечила русскому творчеству столь видное место в мировой литературе.

В. В. НАБОКОВ — Дар. Роман. 416 стр. \$3.00

Поэт и писатель В. В. Набоков-Сирин принадлежит к более молодому поколению русской эмиграции. Россию он покинул юношей, уехав в Западную Европу со своими родителями. За годы жизни в Англии, Франции и в США Набоков выдвинулся в первые ряды не только современной русской литературы, но за свои произведения на английском языке — книга о Гоголе и “The Conclusive Evidence” — признан одним из блестящих стилистов современной английской литературы.

«Дар» — автобиографический роман, повествующий о жизни и исканиях молодого поэта Годунова-Чердынцева. Наиболее значительно это произведение тем, что вводит читателя в творческую лабораторию художника. Эта лаборатория — работа Годунова-Чердынцева над повестью о жизни Чернышевского. Образ Чернышевского, созданный Набоковым, во многом разрушает десятилетиями сложившееся представление о великом шестидесятнике.

Г. П. ФЕДОТОВ — Новый Град. Сборник очерков по истории современной культуры, философии и литературы. С предисловием Ю. Иваска. 384 стр. \$2.75

В лице недавно ушедшего из жизни проф. Г. П. Федотова современная русская литература потеряла одного из самых вдумчивых мыслителей и истолкователей нашей трудной современности. В юности, приняв участие в революционном движении, Федотов к началу революции 1917 года многое успел радикально пересмотреть. Еще оставаясь в Советской России, он принял участие в жизни религиозного подполья. В 1925 году Федотов покинул Россию и поселился сперва в Париже, где был профессором Богословского института, а затем, переехав в США, стал профессором Богословской Академии в Нью-Йорке. Помимо научной деятельности, представление о которой дают его книги, вышедшие на английском языке (“Russian Religious Mind” и “A Treasury of Russian Spirituality”), покойный писатель много времени уделял текущей литературной работе. Его очерки и статьи, посвященные философским, культурным, политическим и литературным вопросам, поражают как разнообразием тем, так и глубиной анализа. Если бы нужно было подыскать для Федотова место в литературе, то по глубине переживания проблем нашего времени и по блеску своего пера Федотова можно сравнить разве только с Герценом.

Н. ЛЕСКОВ — Соборяне. Хроника. 400 стр. \$2.75

За трудную — в личном и в литературном плане — жизнь Лесков вознагражден посмертным признанием. Он один из самых чи-

таемых писателей. Особые обстоятельства биографии Лескова — детство и юность, прожитые сперва в деревне, потом в Орле, годы в Киеве, служба разъездного торгового агента, во время которой Лесков исколесил Россию вдоль и поперек — определили обилие тем, разнообразие литературных жанров, редкостное богатство языка писателя. Все эти качества объединены глубоким интересом к жизни родного народа, его истории, искусства, его языка. Своих героев Лесков находил в гуще жизни. В галерее образов писателя старгородский протоиерей Савелий Туберозов и дьякон Ахилла Десницын — главные действующие лица «Соборян», являются непревзойденными по мастерству воплощения их скромного благородства, душевной красоты и несгибаемой любви к правде.

РОМАН ГУЛЬ — Конь рыжий. Повесть. 288 стр. \$2.00

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли...» — этим эпиграфом, взятым из Откровения Иоанна Богослова, автор как бы объясняет происхождение заглавия своего произведения и его тему. Оно начинается в дремотной тишине провинциального городка Керенска, продолжается в Пензе и резко обрывается началом первой мировой войны; юнкерское училище... и вдруг — звонок у парадной двери и быстрые шаги приятеля-прапорщика с новостью: — в Петербурге — «самая настоящая революция!» Радостное волнение вскоре уступает место смутным месяцам гражданской войны, показанной на фоне огромного пейзажа России с ее перелесками, полями, поймами, косогорами, займищами... Затем — годы эмиграции, проведенные в Германии. Но «конь рыжий» еще не уgomонился: гитлеровские концлагери, переезд во Францию. Вторая мировая война, во время которой писатель возвращается на землю, сочетая это занятие с борьбой против немецких оккупантов...

С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ. «Глухой приход» и другие рассказы. 304 стр. \$2.25

Сборник талантливо написанных рассказов о жизни русского провинциального духовенства.

НИКОЛАЙ НАРОКОВ. «Мнимые величины». Роман. 416 стр. \$3.00

Роман Нарокова посвящен трагической проблеме взаимоотношений человека и большевистского режима.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. Повести и рассказы. 428 стр.
\$2.75

Юмористические рассказы о ежедневных переживаниях советского обывателя.

ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ. «Вечерний день». 244 стр. \$2.00
В ряде блестящих очерков, автор знакомит читателя с европейской архитектурой, искусством и литературой.

**«НЕИЗДАННЫЙ ГУМИЛЕВ». Под редакцией
Проф. Г. Струве.** 240 стр. \$2.25

Этот сборник содержит в себе ряд неизданных произведений Гумилева: трагедию «Отравленная Туника», незаконченную повесть «Веселые братья», несколько стихотворений и очерк по теории поэзии.

М. ОСОРГИН «Письма о незначительном»
416 стр. \$3.00

Осоргин, получивший признание еще в дореволюционной России, хорошо известен и в эмиграции. Духовно он близок Чехову. Книга Осоргина отражает две основные черты его творчества: веру в демократию и любовь к русскому народу. Предисловием к книге служит блестящий критико-биографический очерк, написанный М. Алдановым.

А. РЕМИЗОВ. «В розовом блеске» 416 стр. \$3.00

Ремизов по праву считается выдающимся стилистом современного поколения русских писателей. Его роман — нерукотворный памятник русской женщине исключительного духовного обаяния. Мастерство Ремизова заставляет думать о победе творчества над смертью.

С. ШВАРЦ «Антисемитизм в Советском Союзе»
272 стр. \$2.25

Эта книга написана признанным политическим мыслителем большой эрудиции. Она служит ценным вкладом в изучение происхождения и развития расовой дискриминации в тоталитарном государстве, слепо и жестоко преследующем свои невинные жертвы.

**В. МАРКОВ. — Приглушенные голоса. — Поэзия за
железным занавесом.** 416 стр. \$3.00

Книга представляет собой антологию современных русских поэтов, жизнь которых проходит за «железным занавесом» и чьи

голоса «приглушены» диктаторской властью. В их стихах чувствуется тайный протест против насилия над творчеством художника. Книгу редактировал В. Марков — молодой поэт и критик, живущий теперь в свободном мире.

М. А. АЛДАНОВ. — «Живи как хочешь».

Том I 384 стр. \$2.75

Том II 320 стр. \$2.75

Алданова знает не только русская эмиграция — ряд книг его переведен на 24 иностранных языка. Новый роман Алданова, как и другие его произведения, обнаруживает опытного мастера. В книге использован оригинальный художественный прием: автор вводит в свой роман две пьесы, как органические, и в то же время имеющие самостоятельную художественную цельность, части. И сам роман и введенные в него пьесы читаются с захватывающим интересом.

А. А. БОГОЛЕПОВ. — «Русская лирика от Жуковского до Бунини». Избранные стихотворения. 416 стр.

\$2.75

Само название составленной проф. А. А. Боголеповым антологии говорит о том, какой огромный литературный материал содержится в ней. В книге собраны стихотворения 75 поэтов золотого века русской литературы. Антология вызовет несомненный интерес у русского читателя. Она может быть использована в качестве хрестоматии и стать настольной книгой каждой русской семьи.

ВИЛЛА КАТЭР. — «Моя Антония». Роман, перевод с английского В. С. Яновского. 320 стр. \$2.50

Американская писательница Вилла Катэр мало известна русскому читателю. Ее роман «Моя Антония» рисует жизненный путь тех европейских переселенцев, которые в молодом государстве — в Соединенных Штатах — создавали будущее новой нации. Проникнутая жизненной правдой и любовью к человеку, книга Виллы Катэр поможет русскому читателю познать духовный облик Америки.

М. М. НОВИКОВ. — «От Москвы до Нью-Йорка». 416 стр. \$3.00

Автор книги — последний свободно избранный ректор Московского университета, известный русский ученый. Всю свою дол-

гую жизнь проф. М. М. Новиков посвятил науке, служению России и борьбе за ее свободу. Труд проф. Новикова — повествование вдумчивого наблюдателя и участника событий, предшествовавших захвату власти большевиками. Эта книга — свидетельство борьбы русских ученых против порабощения науки тоталитарным режимом.

Проф. С. Н. ПРОКОПОВИЧ. — «Народное хозяйство СССР».

Том I \$3.25

Том II \$3.25

До сих пор на русском языке не было ни одной истории экономического развития СССР, охватывавшей весь период от октябрьской революции до настоящего времени. Книга проф. Прокоповича, основанная на тщательном изучении всех доступных источников, заполнила этот пробел. Особенно ценно то, что «Народное хозяйство СССР» дает анализ развития в послевоенную эпоху, сравнительно малоизвестную нашей эмиграции.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ. — «Ночные дороги».

256 стр.

\$2.00

Мир, который Г. Газданов рисует нам в «Ночных дорогах» — это мир парижских преступников, сутенеров, проституток, сумасшедших. Автор — шофер ночного такси — знает этот ночной мир и его обитателей, как их никогда не смог бы узнать посторонний. Знакомство с ночным Парижем оставило на авторе неизгладимый след и привело его к убеждению, что нет ничего сложнее и неожиданнее, чем человек.

Ю. МАРГОЛИН. — «Путешествие в страну Ээ-ка».

416 стр.

\$2.75

После «Записок из Мертвого Дома» Достоевского не было написано более потрясающей книги о жизни политических заключенных, чем «Путешествие в страну Ээ-Ка» Марголина. Ни одному современному писателю не удалось передать с большей силой спокойный ужас того процесса «расчеловеченья», который составляет сущность жизни на современной советской каторге.

Н. И. УЛЬЯНОВ. — «Атосса». 208 стр. \$2.00

Н. Ульянов воскресил в «Атоссе» грандиозный, но малоизвестный эпизод из древней истории: поход персидского царя Дария на родину наших далеких предков — скифов.

Ульянов резко отличается от всех современных эмигрантских пи-

сателей. Он продолжатель традиции, основа которой была положена в нашей литературе Мережковским. Для него история — лишь фон, изменчивость которого подчеркивает элемент непрерывности и преемственности, соединяющий нас с прошлым и уводящий к вечному. Со страниц романа веет седой древностью. Но сколько в этой древности современного, понятного и близкого каждому из нас.

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ. — «Товарищ Кисляков». 368 стр. \$2.50

В «Товарище Кислякове» ярко отразилось великое смятение чувств двадцатых годов, когда русские люди окончательно растеряли все ценности прошлого, не обретя новых. Лишившись веры в себя и других, попав под власть мелких страстей и больших слабостей, герои Романова томятся чувством глубочайшей неуверенности, превращающей их жизнь порой в пытку, а порой — в маскарад наигранных чувств и выдуманных страстей. В эмиграции этот роман был издан под заглавием «Три пары шелковых чулок».

Н. ФЕДОРОВА. — «Семья». 352 стр. \$2.75

Автор скрывает свои «незримые слезы» и глубокую человечность за юмористическим описанием событий, составляющих сюжет «Семьи». Октябрьская революция выбросила в Китай крепкую, хорошую русскую семью. Эта семья не в силах противостоять железным законам экономики; она вообще не приспособлена к борьбе за существование. Но простота, доброта и вера в людей делают семью в глазах читателя победительницей в ее конфликтах, которыми проникнуты «отцы и дети», покоряют окружающих те с жестокой житейской арифметикой.

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена: \$2.00

